

## Постмодернизм в России



— Что это такое —  
постмодернизм? —  
подозрительно  
спросил Стёпа.  
— Это когда ты  
делаешь куклу куклы.  
И сам при этом кукла.

В. Пелевин. Числа

Нельзя быть человеком XXI века,  
не усвоив опыт постмодернизма,  
так же как человек XIX века  
не мог сформироваться  
без влияния романтизма,  
а человек XX века — без уроков  
авангарда. И даже для того,  
чтобы преодолеть постмодернизм,  
нужно сначала освоить его как  
систему — и постепенно подняться  
на ту ступень рефлексии, которая  
позволит увидеть его уже  
пройденным, а значит, открыть  
перед собой новый горизонт  
культуры.

М. Эпштейн



Новый культурный код

Михаил Эпштейн

# **Постмодернизм в России**

«Азбука-Аттикус»

2019

УДК 168.522+7.038.6  
ББК 71+85

**Эпштейн М. Н.**

Постмодернизм в России / М. Н. Эпштейн — «Азбука-Аттикус»,  
2019 — (Новый культурный код)

ISBN 978-5-389-17641-6

Михаил Наумович Эпштейн – российско-американский философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, лауреат премий Андрея Белого, Лондонского Института социальных изобретений, Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар), Liberty (Нью-Йорк). Профессор Университета Эмори (США), автор трех с лишним десятков книг и более семисот статей и эссе, переведенных на двадцать четыре иностранных языка. «Постмодернизм в России» – это разностороннее исследование российского постмодерна, его истоков и основных этапов в XX – XXI веке, а также культурно-исторических отличий от западного постмодернизма. В России постмодернизм стал не только направлением в философии, литературе и искусстве, но и способом критического и иронического осмысления повседневности, общественно-политических и технических симулякров. Эта книга писалась почти сорок лет, одновременно со становлением самого российского постмодернизма, у истоков которого стоял и сам М. Эпштейн. Автор выдвигает оригинальную концепцию конца Нового времени и соотношения постмодернизма с модернизмом, коммунизмом, экзистенциализмом. Рассматривает основные литературные и теоретические программы постмодерна в творчестве его ярких представителей (А. Синявского, И. Кабакова, Вен. Ерофеева, Д. Пригова, Т. Кибирова, А. Гениса...) и отдельных направлений (метареализм, концептуализм, соц-арт, арьергард). В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 168.522+7.038.6  
ББК 71+85

ISBN 978-5-389-17641-6

© Эпштейн М. Н., 2019

© Азбука-Аттикус, 2019

# Содержание

Введение	6
Раздел 1	17
Информационный взрыв и травма постмодерна	17
1. Отставание человека от человечества	17
2. Постмодерная травма	18
3. Референция от обратного	21
4. Специализация и дезинтеграция	23
5. Век новых катастроф?	25
6. Постинформационный шум	28
7. Датаизм и новейшая информационная травма	29
Ироническая диалектика: Революции XX века как предпосылка постмодернизма	34
1. Модернистские корни постмодернизма	34
2. Гипер в культуре и научная революция	35
3. Текстуальная революция	37
4. Экзистенциальная революция	38
5. Сексуальная революция	41
6. Социальная революция	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Михаил Эпштейн

## Постмодернизм в России

### Введение

#### 1

Та или иная идея достигает пика популярности, когда становится притчей во языцех. Ее обвиняют во всех смертных грехах, поминают к месту и не к месту, приписывают чудодейственное или злокозненное влияние.

Политики непрестанно лгут и извращают факты – виноват постмодернизм, который стер грань между фикцией и реальностью.

Художники вместо произведений искусства выставляют кучи мусора в сопровождении бессмысленных надписей – дураят зрителей постмодернизмом.

Ученые вместо исследований выдают псевдонаучную чушь, прикрытую модными словечками, – постмодернизм дотянулся даже до науки.

Постмодернизм не интересуется ничем, кроме самого себя. Туземец упрекает антрополога, который якобы его изучает: «Может быть, для разнообразия поговорим и обо мне?»

О постмодернизме слагаются анекдоты. Идет Штирлиц по лесу, видит – сидит на дереве Бодрийяр. «Штирлиц», – подумал Бодрийяр. «Симулякр», – подумал Штирлиц.

Появляются анекдоты в стиле постмодернизма. Сартр сидит в кафе и пишет книгу «Бытие и ничто». Подходит официант. «Кофе без сливок, пожалуйста», – просит Сартр. «Извините, у нас нет сливок. Можно я принесу кофе без молока?»

Не за что ухватиться! В каком мире мы живем? Мониторы, экраны, презентации, все что-то изображают из себя, паясничают. Государство – фабрика фейков. Сплошная подделка и надувательство.

Реалити-шоу, исторические реконструкции, монструозный кинопроект «Дау», перетасовка времен, вселенская «смазь»... И во всем этом нет ни души, ни совести, ни вдохновения.

Нарастание абсурда, ткань реальности расплывается в неожиданных местах: дыра в обшивке космического корабля, 146 % населения голосуют «за», здание посольства становится складом кокаина... Постмодерные штучки.

Теперь ничего прямо не скажут, одни только «как бы» и «типа». Как бы бизнес, как бы компания, как бы прибыль, как бы договор. От постмодерна прохода нет.

В Японии торговые центры стали украшать к Рождеству христианской символикой, – например, в одной из витрин выставлен Санта-Клаус, распятый на кресте.

Люди теряют половую и национальную идентичность, выдают себя за представителей каких-то несуществующих гендеров и фантастических этносов – постмодернизм затуманил мозги.

Все работают спустя рукава. Тяп-ляп. Ничего не доводится до конца. Утерян критерий качества. Все равно, дескать, везде ризомы и «хаосмос».

Непонятно, говорит он всерьез или издевается. Не дожدهшься прямого слова – сплошной стеб.

«Так он писал темно и вяло...» Такая мода была у романтиков, а теперь ее подхватили постмодернисты.

Шекспиру, Прусту и Джойсу пора потесниться. В литературный канон теперь входят Сароджини Найду, Арун Колаткар и Оодгероо Ноонуккал.

«Все смешалось в доме Облонских» – вероятно, эти господа тоже были постмодернистами.

«– Что это такое – постмодернизм? – подозрительно спросил Степа. – Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла» (В. Пелевин. Числа).

Итак, во всем происходящем в XXI веке виноват, конечно же, постмодернизм. И это свидетельство его триумфа: он превратился в мем, который на устах даже у тех людей, которые мало читают и для которых культура лишь развлечение. И еще это говорит о том, что постмодернизм добрался до России, превратившись из термина изысканной эстетики в ходовое слово, которым легко отшутиться, отмахнуться от всего сложного и непонятного.

Во всех вышеприведенных репликах, резонных или вздорных, обывательских или просто шуточных, проглядывает нечто общее, действительно присущее постмодерну. Постмодернизм – это больше о форме, чем о содержании; о знаках, чем о значениях; больше о восприятии и понимании, чем о голых фактах; об информационных системах, о моделях и копиях, о призмах и линзах, через которые мы смотрим на мир.

Одно из первых системных определений того, что впоследствии стало называться постмодерном, предложил американский архитектор Роберт Вентури (1925–2018) в книге «Сложности и противоречия в архитектуре» (1967). Отвергая стерильную, «пуританскую» функциональность модернизма, Вентури провозгласил эстетику сложного, разнородного – причудливое соединение разных стилей:

В архитектуре мне нравятся сложность и противоречия... Гибридные элементы мне нравятся больше, чем «беспримесные», компромиссные больше, чем «цельные», искривленные больше, чем «прямолинейные», неопределенные больше, чем «четкие»... вмещающие в себя больше, чем исключаящие, чрезмерные больше, чем простые... противоречивые и двусмысленные больше, чем прямые и ясные. Я за беспорядочную жизненность, а не за очевидное единство. Я признаю непоследовательность и провозглашаю двойственность<sup>1</sup>.

Здесь уже намечены те особенности новой эстетики, которые полвека спустя отразились в анекдотических представлениях о вездесущем, неуловимом, дурацком, опасном, разрушительном постмодерне.

## 2

Постмодернизм – самое влиятельное направление в культуре последней трети XX века, которое бросило вызов модернизму и всему наследию западной цивилизации Нового времени. И в XXI веке постмодерн остается все еще действенной силой, формируя новые культурные течения, которые, в свою очередь, бросают вызов ему самому.

Понятие постмодернизма систематически стало применяться к новым тенденциям в архитектуре, литературе, философии с 1970-х годов<sup>2</sup>. Обычно постмодернизм определяется

---

<sup>1</sup> Вентури Р. Сложности и противоречия в архитектуре // Мастера архитектуры об архитектуре; Под общ. ред. А. В. Иконникова, И. Л. Маца, Г. М. Орлова. М., 1972. С. 543. См.: <http://www.opentextnn.ru/man/?id=3478>.

<sup>2</sup> Считается, что термин «постмодерный» был впервые использован в 1870-е гг.: английский художник Джон Уоткинс Чапмен (John Watkins Chapman) предложил «постмодерный стиль живописи» как путь дальнейшего развития искусства после французского импрессионизма. «Постмодернизм» встречается у немецкого философа Рудольфа Паннвица (Rudolf Pannwitz) в его книге «Кризис европейской культуры» (1917) как обозначение нигилизма в культуре XX в. В 1934 г. этот термин использовал испанский критик Федерико де Онис (Federico de Onis) в книге «Антология испанской и испано-американской поэзии, 1882–1932», чтобы охарактеризовать растущую в то время литературную реакцию против модернизма начала века. В 1939 г. выходит книга английского теолога Бернарда Белла (Bernard Iddings Bell) «Религия живых: книга для постмодернистов», где постмодернизм обозначает реакцию против модернистского секуляризма и начало нового религиозного подъема. В многотом-

как культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и художественных движений, которым свойственны принципиальный *эклектизм* и *фрагментарность*, отказ от больших, всеохватывающих мировоззрений и повествований. «Просветительская» установка на идеал, поиск некоей универсальной и рационально постижимой истины отождествляются с опасностями утопизма и тоталитаризма. Мир мыслится как *текст*, бесконечная *перекодировка* и *игра знаков*, за пределом которых нельзя явить означаемые «вещи» как они есть, «истину» саму по себе. Текст мыслится *«интертекстуально»*, как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише. Речевые акты рассматриваются как самореферентные, относящиеся к самому языку, в связи с чем возникает множество парадоксов типа «лжеца». Понятие реальности конструируется производно от тех концептуальных схем и текстуальных стратегий, которые зависят от *расовых, этнических, гендерных, сексуальных* идентичностей и ориентаций исследователя, от его властных позиций и устремлений. На место категорий единства и противоположности выдвигаются категории *различия* и *инаковости*, которые устанавливают ценность *«другого»*, иноположного, выходящего за рамки данной системы. Всякая иерархия ценностей, в том числе противопоставление «элитарного» и «массового», «центра» и «периферии», «глобального» и «локального», революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции, снимается во имя *существования* разных культурных моделей и канонов, самоценных, самодостаточных и несводимых друг к другу. Те группы и субкультуры, которые раньше считались *маргинальными*, выдвигаются на первый план как субъекты политической деятельности и интеллектуального самовыражения – отсюда *феминизм, постколониализм*, многообразные *сексуально-гендерные* альтернативы, стратегии письма и общественные движения. Личность, оригинальность, авторство рассматриваются как иллюзии сознания или условные конструкции, за которыми действуют механизмы знаковых систем, языка, бессознательного, рынка, международных монополий, властных структур, распределяющих функции между индивидами.

Среди терминов и понятийных комплексов, которыми чаще всего характеризуется культура постмодернизма, выделяются «означающие без означаемых», «симулякр» (подобие без подлинника), «интертекстуальность», «цитатность», «деконструкция», «игра следов», «исчезновение реальности», «смерть автора», «эпистемиологическая неуверенность», «критика метафизики присутствия», «гибель сверхповествований» (обобщающих моделей мироздания), «антиутопизм и постутопизм», «крах рационализма и универсализма», «крах логоцентризма и фаллоцентризма» (мужского шовинизма), «фрагментарность», «эклектика», «плюрализм», «релятивизм», «рассеивание значений», «крах двоичных оппозиций», «различение», «другое», «многокультурность», «скептицизм», «ирония», «пародия», «пастиш» (или «центон», художественная композиция, составленная из цитат, часто с целью пародии)...

Дать четкое и однозначное определение постмодернизма трудно, потому что, во-первых, постмодернизм по своей сути «апофатичен», ускользает от дефиниций и располагает скорее к «инфинициям», то есть бесконечным оговоркам о том, чем он не является; во-вторых, само это понятие, несмотря на полувековую историю, еще не успело отстояться и застыть для четких

---

ном сочинении Арнольда Тойнби «Изучение истории», в 5-м томе, вышедшем в 1939 г., термин «постмодернизм» относится к периоду возникновения массового общества после Первой мировой войны. Среди литературоведов и критиков, которые придали этому термину принципиальное значение на рубеже 1960–1970-х гг., следует выделить Ирвинга Хау (Irving Howe, «Массовое общество и постмодерная литература», 1970), Лесли Фидлера (Leslie Fiedler, «Новые мутанты», 1971), Ихаба Хассана (Ihab Hassan, «Расчленение Орфея; к постмодерной литературе», 1971). В архитектуре важнейшими вехами на пути к постмодернизму стали книги Джейн Джейкобс (Jane Jacobs) «Смерть и жизнь великих американских городов» (1961), Роберта Вентури (Robert Venturi) «Сложность и противоречие в архитектуре» (1966) и Чарлза Дженкса (Charles Jencks) «Язык постмодерной архитектуры» (1977). Основы постмодерной философии были заложены трудами французов Мишеля Фуко («Порядок вещей; Археология гуманитарных наук», 1966), Жака Деррида («О грамматологии», 1967), Жили Делёза и Феликса Гваттари («Анти-Эдип: капитализм и шизофрения», 1972), Жана Бодрийяра («Символический обмен и смерть», 1976), Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна; доклад о знании» (1979) и американского философа Ричарда Рорти «Философия и зеркало природы» (1979).



определений, чаще просто перечисляются его признаки; в-третьих, такое определение может быть скорее результатом, чем предпосылкой самостоятельного исследования. Задача данной книги именно в том, чтобы определить понятие постмодернизма с учетом его российской специфики, без которой, на мой взгляд, вообще невозможно осмыслить историческую значимость этого феномена и его глобальные последствия.

### 3

В 1970–1980-е годы понятие постмодернизма прилагалось почти исключительно к Западу, и лишь в конце 1980-х и начале 1990-х годов появились работы о постмодернизме в Японии, в Латинской Америке, затем – в Китае<sup>3</sup>. Применение этого понятия к России еще в середине 1990-х годов вызывало сомнение и даже недоумение, поскольку считалось, что постмодернизм – это новейшая культурная формация, возникающая на основе высокотехнологического, постиндустриального, позднекапиталистического общества. Действительно, сама постановка проблемы «постмодернизм в России» предполагает известную концептуальную дерзость и, во всяком случае, требует объяснения той теоретической стратегии, которая делает мыслимым такое словосочетание, вынесенное в заглавие книги.

Обозначим несколько главных тезисов. Понятие постмодерна – это ключ к всеобъемлющей периодизации всемирной истории, которая традиционно делится на три большие эпохи: древность, Средневековье и Новое время. Как ни условна такая классификация, она позволяет взглянуть на всемирную историю с высоты птичьего полета и обнаружить динамику и взаимосвязь более конкретных периодов. Очевидно, что в XX веке исчерпываются основные движущие силы Нового времени, формировавшие его с периода Ренессанса: антропоцентризм, индивидуализм, рационализм, вера во всемогущество разума и свободу личности. Уже в 1920–1930-е годы выдвигаются концепции перехода от Нового времени (Modern Age) к «новому средневековью» (Н. Бердяев), к «массовому обществу» (Х. Ортега-и-Гассет), а впоследствии, к «постиндустриальному обществу» (Д. Белл). Все эти концепции получили общий знаменатель и детальную разработку в теории постмодерна, которая с рубежа 1960–1970-х годов развивается параллельно в литературоведении, философии, теории архитектуры и т. д.

Постмодерн в самом общем смысле – это *четвертая* большая эпоха в истории западного человечества, которая следует за Новым временем. Термин «постмодерное» требует прояснения в связи с тем, какое историческое содержание вкладывается в понятие «модерное». Здесь необходимо провести различие между (1) «модерностью» – в европейских языках этим термином обозначается вся эпоха Нового времени (Modernity) – и (2) «модернизмом» (Modernism), который является последним, завершающим периодом Нового времени (более частные деления внутри модернизма включают символизм, футуризм, сюрреализм, экзистенциализм и т. д.). Соответственно следует различать между (1) «постмодерностью», большой, многовековой эпохой, следующей после Нового времени, и (2) «постмодернизмом», первым периодом постмодерности, который следует за модернизмом, последним периодом Нового времени.

<sup>3</sup> См., например: Корнилов М. Н. Постмодернизм и культурные ценности японского народа: научно-аналитический обзор. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 1995; Postmodernism and China / Coedited by Arif Dirlik and Zhang Xudong. Durham, N. C.: Duke University Press, 1997.

## Эпохи

АНТИЧНОСТЬ

СРЕДНИЕ ВЕКА

НОВОЕ ВРЕМЯ  
(МОДЕРНОСТЬ)

ПОСТМОДЕРНОСТЬ

## Периоды

Ренессанс

Реформация

Барокко

Классицизм

Романтизм

Реализм

Модернизм

Постмодернизм

Принципиально различая понятия «постмодерность» (большой и в основном еще предстоящей нам эпохи) и «постмодернизм» (ее первого и в основном уже завершенного периода), я употребляю термин *«постмодерн»* в обобщенном или неразличенном смысле, когда его можно отнести и к эпохе, и к периоду.

## 4

Данная книга посвящается *постмодерну* в целом: не только постмодернизму как сравнительно краткому текущему периоду в истории культуры, по объему сопоставимому с модернизмом, но и постмодерности как большой, на века рассчитанной формации, сопоставимой по своей длительности с Новым временем. Сложность в том, что мы живем *в самом начале эпохи постмодерности* и ее *первый период, постмодернизм*, определяет для нас ее главные черты, сокращая и перекрывая собой дальнюю историческую перспективу. Мы склонны распространять узкие, преходящие особенности постмодернизма, такие как поэтика цитатности и пародийности, на новейшую эпоху постмодерности в целом, хотя они знаменуют лишь ее самые ранние, незрелые свойства. Одна из задач этой книги – очертить границы постмодернизма в рамках продолжающейся большой эпохи постмодерности и показать возможности перехода к последующему периоду, который может по-разному характеризоваться как «протеизм», «транскультура», «взрывной стиль» и т. п. (об этом – в последнем разделе книги). Представляется, что к началу XXI века постмодернизм исчерпал себя, но тем настоятельнее обозначаются *перспективы постмодерности за пределами постмодернизма*.

Большое внимание уделяется в книге национальным особенностям российской постмодерности как диффузной культурной формации, которая складывалась внутри Нового времени и предшествовала формированию западного постмодерна. Дело в том, что предпосылки Нового времени (рационализм, гуманизм, индивидуализм, развитие науки и просвещения и т. д.) всегда были выражены в России слабее, чем в европейских странах. Такие важнейшие периоды и приобретения Нового времени, как секуляризация, развитие наук и искусств, Ренессанс и Реформация, вообще были пропущены в России. Да и само Новое время, начавше-

еся с Петровских реформ, на несколько веков запоздало по сравнению с европейским и явилось как его отражение и имитация. Отсюда черты преждевременной постмодерности, которые сопутствуют русской культуре чуть ли не с начала Нового времени, с построения Петербурга как «самого умышленного», «цитатного» города, энциклопедии европейской архитектуры. По выражению Освальда Шпенглера, русская культура – это «псевдоморфоза», поскольку она развивается в формах западной культуры, перенося ее знаки в другую национально-историческую среду, где они лишаются своих означаемых и становятся самозамкнутой системой взаимных референций, без выхода в план реальности. Вся эта «псевдоморфозность» имеет прямое отношение к тому «псевдо», царству подделок и симулякров, которое в западной теории отождествляется с культурой постмодерна.

Искусственное насаждение цивилизации сверху, из «правлящего ума», отсутствие реальных означаемых у системно замкнутых на себе знаков оказались в новинку современной западной теории, которая столетиями развивалась в русле научной рациональности, объективности, согласования идей и фактов. То, что стало сенсационным открытием западного постмодернизма, представляет собой традицию и рутину в тех культурах, где реальность издавна воспринималась как зыбкое понятие, вторичное по отношению к правящим идеям и знаковым кодам. На протяжении всей двухсотлетней Петровской эпохи в России происходит накопление и игра знаков Нового времени – «просвещения», «науки», «разума», «гуманизма», «реализма», «индивидуальности», «социальности» – и одновременно их постмодерное передразнивание и опустошение, превращение в симулякр. Ранняя постмодернизация русской культуры в XVIII–XX веках – это своего рода прорастание нового (постмодерного) средневековья из останков старого (предмодерного) средневековья через тонкую и быстро плесневеющую пленку модерности (то есть нововременных реформ и заимствований). Само Новое время пришло в Россию готовым с Запада как послесловие к его живой европейской истории, как «послевременье». Поэтому Новое время стало здесь приобретать черты «постнового» времени, особенно если учесть постоянную российскую критику «модерной» европейской цивилизации – индивидуализма, рационализма, юрицизма и т. д. Отсюда и претензии России на то, чтобы, войдя последней в историю европейских народов, тут же возглавить эту историю и повести их за собой.

В этом свете по-новому объясняется и феномен российского коммунизма как раннего, насильственно-форсированного постмодерна, который задним числом должен был решать и задачи запоздалой модернизации. Коммунизм в этой книге определяется как «постмодерн с модернистским лицом», что объясняет удивительную зависимость и российского, и западного постмодернизма – не только соц-арта и концептуализма, но и теорий М. Фуко, Ж. Делёза, Ж.-Ф. Лиотара, Ф. Джеймисона – от коммунистических идей и мотивов. Даже в 1990-е годы, когда Россия заняла свое место в арьергарде экономического развития Запада, ее коммунистический эксперимент воспринимался как авангардный многими западными теоретиками. По его образцу создаются теории политической корректности, ангажированности, социального и психофизического детерминизма, властных функций письма, превосходства незападных, немодерных типов сознания и т. д. Если в России капитализм западного образца долго воспринимался как желанное и труднодостижимое будущее, то над странами Запада, особенно их интеллектуальной средой, напротив, постоянно витает «детский» призрак невоплощенного, опасно-притягательного коммунизма. Даже в XXI веке России еще предстоит решать задачи вхождения из Средневековья в Новое время – но интригующий опыт коммунистического средневековья у России уже в прошлом, и его катастрофическими и ностальгическими уроками «родина коммунизма» может щедро делиться с Западом.

## 5

Хотя постмодернизму, в общепринятом его понимании, уже примерно полвека, он остается самым дискуссионным «измом» до нашего времени. Даже начальная граница этого периода твердо не установлена. Если в США, во Франции и вообще в западном мире она проводится довольно четко по рубежу 1960–1970-х годов, то применительно к России она расплывается. Считать ли началом русского постмодерна рубеж 1980–1990-х годов, когда это понятие стало входить в обиход отечественной критики и определять самосознание писателей и художников? Или рубеж 1970–1980-х, когда выходят на литературную сцену такие очевидные по своей постмодерной эстетике поэтические движения, как соц-арт, концептуализм и метареализм? Или рубеж 1960–1970-х, когда создаются такие основополагающие тексты русского постмодерна, как «Пушкинский дом» А. Битова и «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева? Или рубеж 1950–1960-х, когда возникает Лианозовская «протоконцептуальная» школа в поэзии и живописи и выходит работа А. Синявского (А. Терца) «Что такое социалистический реализм» – первое программное осмысление того, что впоследствии стало называться соц-артом? Так в истории русского постмодерна открывается «за далью даль». Некоторые исследователи считают, что роль основоположника русского постмодерна следует закрепить за О. Мандельштамом или за М. Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Иные же относят начало постмодерного проекта к «Евгению Онегина» А. Пушкина или даже к строительству Санкт-Петербурга, полагая, что запоздалый и подражательный приход Нового времени («модерности») в Россию с самого начала совершался в формах сознательной вторичности, цитатности, то есть, по сути, модерное здесь изначально явилось как постмодерное.

Если разброс в определениях начала столь велик, то тем более нет определенности в обозначении конца. Да и можно ли говорить о конце постмодернизма, если нет пока никакой другой более или менее общепринятой концепции, которая определяла бы основной характер и стилевую доминанту нашей эпохи? Не исключено, что постмодерн останется надолго последним интегральным мироощущением и философско-эстетической программой, которая имела общечеловеческий масштаб и более или менее целостно определяла историческую стадиальность в движении мировой культуры. Все то, что возникает «после постмодернизма», носит гораздо более локальный и фрагментарный характер и в какой-то мере продолжает тенденцию самого постмодерна к «саморазложению», «самодеконструкции», то есть являет собой его негацию лишь в той же степени, что и его триумф.

В любом случае очевидно, что мы все еще находимся в зоне притяжения и влияния постмодернизма и можем говорить о нем по праву современников, как «живые о живом». В то же время мы находимся и на той дистанции от эпицентра постмодерного взрыва в 1970–1990-х годах, которая позволяет нам обозреть его как целое, выделить его устойчивые закономерности и даже в какой-то мере прогнозировать его дальнейшее саморазвитие-самоисчерпание, прочерчивать линии его перехода в стилевые установки следующей эпохи. Встав на ту черту, где постмодернизм исчерпывает себя, переходит в так называемый пост-постмодернизм (пост-постисторизм, пост-постструктурализм и т. д.), мы можем придать нашему исследованию не только объективно-итоговое, но и предсказательно-гипотетическое измерение, превратить эти множасьшиеся «пост-пост-пост» в знаки новой, еще четко не обозначенной культурной формации начала третьего тысячелетия.

## 6

Особенность данной книги – попытка соединить все три перспективы: деятельную, исследовательскую и в какой-то мере предсказательную. Прежде всего постмодернизм здесь

рисуеться изнутри, с точки зрения автора – участника тех литературных процессов, которые привели к ныне более или менее известным художественным результатам. В частности, в книгу вошли написанные мною в 1980-е годы в Москве манифесты новых литературных и интеллектуальных движений, от концептуализма и метареализма до эссеизма, которые составили важные компоненты того, что впоследствии стало называться постмодернизмом. Хочется подчеркнуть важность такого вхождения в существо проблемы через открытый процесс ее «пробного» опознания и названия, когда культура еще не знает, что она говорит «прозой», то есть говорит на языке постмодерна, не ведая, как будет называться сам этот язык.

М. М. Бахтин, утвердивший категорию незавершенности в гуманитарной науке, отмечал с сожалением: «На первом плане у нас *готовое* и *завершенное*. Мы и в Античности выделяем готовое и завершенное, а не зародышевое, развивающееся. Мы не изучаем долитературные зародыши литературы (в языке и обряде)»<sup>4</sup>. Этот «эмбриологический» подход к литературе, внимание к ее зародышам и начальным стадиям развития, особенно важен для введения в круг наиболее острых, нерешенных проблем. Пусть мысль движется от неизвестного к известному по тем же ступеням, по которым исторически двигался и сам постмодерн, тем самым готовя нас к роли не просто знатоков, но первооткрывателей.

Разумеется, такие экскурсы в сторону манифестов и начальных гипотез обнаруживают свой поступательный смысл только в рамках другого подхода, уже собственно исследовательского, который опирается на совокупность известных фактов и проводит через них концептуальные обобщения. Этот подход к постмодернизму, как уже «ставшему» и обозримому философско-эстетическому целому, господствует в книге. Основная задача книги – постижение *специфики русского постмодерна* на фоне западного и построение системы понятий и терминов, которые помогли бы, с одной стороны, эту специфику обозначить, а с другой стороны, на основе российского эстетического опыта внести вклад в мировую теорию постмодерна.

О западном постмодернизме существует обширная аналитическая литература, русский же постмодернизм чаще всего характеризуется в терминах, взятых из англо-американских, французских, итальянских теоретических источников. Такая тенденция характерна, в частности, для пособий И. С. Скоропановой, Н. Маньковской, И. Ильина, несомненно ценных как компендиумы приемов и идей, открытых западными теоретиками и прилагаемых к явлениям русской литературы. Берутся понятия, введенные Ж. Бодрийяром, Ж. Делёзом, Ж. Деррида, Ж. Лиотаром, М. Фуко, такие как «симулякр», «деконструкция», «различение», «след», «паралогия», «складка», «ризома», «шизоанализ», «смерть автора» и т. д., и с предсказуемым успехом прикладываются к творчеству А. Битова, Вен. Ерофеева, Саши Соколова, В. Пелевина, В. Сорокина, Д. Пригова, Т. Кибирова и др. Такой прием «перекодировки» – нахождения известного в известном и переложения готовых теоретических понятий на литературный язык – имеет свой методологический интерес, поскольку помогает студенту усвоить наличную сумму знаний и находить соответствие, хотя бы и механически заданное, между постмодерной теорией и практикой.

В этой книге избран другой путь – формирование теории из самой практики, продуцирование новых понятий и терминов, которые отражают российский художественно-интеллектуальный опыт и могут проецироваться далее и на западный постмодернизм. Отсюда разработка таких понятий, как «метареализм», «метабола», «арьергард», «лирический музей», «неолубок», «противоирония», *прото*, «протеизм», «новая сентиментальность», «кенотип», «эссеизм», «мыслительство», «экология мышления» и др. Эти концепты и концептуальные комплексы впервые рассматриваются систематически и вводятся в оборот теоретической мысли. Таким образом, и в исследовательской своей части книга носит во многом экспериментальный

<sup>4</sup> Бахтин М. М. Рабочие записи 1960 – начала 1970-х гг. // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М.: Русские словари. Языки славянской культуры, 2002. С. 398.

и гипотетический характер, что связано с новизной самого исследуемого материала и попыткой выработать адекватный ему теоретический язык, а не перевести его на язык понятий, уже отработанных западным постмодерном. Тем самым читатель приглашается к участию в лаборатории современной культурологии. Ему предстоит не только путь *от неизвестному к известному*, как уже отмечалось ранее, но и путь *от известного к неизвестному*: от достаточно популярных произведений постмодерной поэзии и прозы к разработке еще только складывающейся теории русского постмодерна, которая говорила бы своим голосом и принимала бы самостоятельное, диалогическое участие в мировой эстетической мысли.

Книга стремится заострить дифференциальные признаки постмодернизма, представить его не изолированно, но в системе его значимых отличий от других художественных периодов и направлений. Книга не преследует цели полно или равномерно охватить все стороны и достижения постмодернизма, но сосредоточивается скорее на структурно-типологических вопросах: что есть постмодернизм как тип мировоззрения и художественная система? чем обусловлено его возникновение и как он вписывается в историю современности? что отличает его от других культурных формаций? как соотносятся его основные направления и разновидности? В фокусе книги не столько многообразные «срединные» проявления постмодернизма, сколько его начала и концы, те культурные границы, на пересечении которых он возникает и исчезает, те многочисленные «и», «не», «до» и «после», с которыми он сопрягается. Постмодернизм – и Новое время... русская идея... диалектика... модернизм... авангард... экзистенциализм... утопизм... коммунизм... социалистический реализм... Именно в системе этих соотношений и начинает артикулироваться понятие постмодернизма, которое, взятое в отдельности, кажется теоретически призрачным и неуловимым.

## 7

Уместно напомнить, что история российского «постмодернизма», в узком смысле, как обаятельного термина и зовущего направления, была ошеломляюще бурной. У автора с ней связана своя личная история. В январе 1991 года в журнале «Знамя» вышла моя статья «После будущего. О новом сознании в литературе», где, насколько мне известно, впервые понятие постмодернизма применялось к отечественной культуре (глава «Наше „послебудущее“ и западный постмодернизм»)<sup>5</sup>. А спустя пять с небольшим лет, в мартовском номере того же «Знамени» за 1996 год, была напечатана моя статья «*Прото-*, или Конец постмодернизма», которая пыталась подвести предварительный итог прекрасной эпохе и обозначить перспективу следующей.

Мне представляется, что именно эти годы, первая половина 1990-х, были периодом «бури и натиска» российского постмодернизма. В этот период выходили романы Виктора Пелевина, Владимира Шарова, Владимира Сорокина, Дмитрия Галковского, поэтические сборники Дмитрия Пригова, Тимура Кибирова, Елены Шварц, Алексея Парщикова, теоретические и критические работы Александра Гениса, Бориса Гройса, Марка Липовецкого, Вячеслава Курицына, которые и обозначили основные вехи в истории российского литературного постмодернизма, а также создали предпосылку его международной оценки и понимания. В зарубежной славистике отношение к проблеме «российского постмодернизма», даже к самой возможности ее постановки, поначалу было неоднозначным и настороженным. Вместе с тем следует отметить вклад в изучение разных аспектов русского постмодерна таких филологов, культурологов и славистов, как Svetlana Boym, Edith Clowes, Nancy Condee, Thomas Epstein, John High, Dragan Kujundzic, Anesa Miller, Slobodanka Vladiv-Glover, а также доброжелательную

<sup>5</sup> Эта статья была ранее представлена в качестве доклада российской делегации на Четвертой Уитлендской (Wheatland) международной конференции по литературе в Сан-Франциско в июне 1990 г.

поддержку мэтров славистики, профессоров Caryl Emerson, Michael Holquist, Walter Laqueur, Dale Peterson, Victor Terras и др.<sup>6</sup>

Касаясь собственной работы, отмечу, что в 1995 году вышла на английском языке моя книга «После будущего. Парадоксы постмодернизма и современная российская культура»<sup>7</sup>. Также на английском была подготовлена в соавторстве с Александром Генисом и Слободанкой Владив-Гловер книга «Российский постмодернизм. Постсоветская культура в новой перспективе», вышедшая в январе 1999 года, а вторым, расширенным и переработанным изданием – в 2016 году<sup>8</sup>.

Данная книга выходит на русском языке третьим изданием, которое существенно переработано и дополнено по сравнению с двумя предыдущими<sup>9</sup>.

Мне хочется выразить благодарность всем моим друзьям, коллегам, собеседникам, благодаря которым постмодерные темы приобрели в моем сознании многоголосое звучание: Андрею Битову, Ольге Вайнштейн, Александру Генису, Кенту Джонсону, Илье Кабакову, Виталию Комару, Илье Кутику, Марку Липовецкому, Анесе Миллер, Алексею Парщикову, Дмитрию Пригову, Дмитрию Шалину, Владимиру Шарову, Евгению Шкловскому, Кэрил Эмерсон, Томасу Эпстайну. Я глубоко признателен моей жене Марианне Таймановой за всестороннюю помощь в подготовке этого издания.

\* \* \*

Книга состоит из введения, семи разделов и заключения, в которых последовательно характеризуются основные аспекты своеобразие и становления постмодерна в России в основном на материале литературы и литературной теории, но также с включением других эстетических практик (изобразительное искусство, театр, музей, культура в целом).

Во введении дается предварительное определение постмодернизма и набрасывается схема его исторических отношений к культуре Нового времени.

В первом разделе характеризуются общие закономерности постмодерна как мирового явления, связанные с информационным взрывом и с диалектикой перехода культуры от *супер* к *псевдо*.

Во втором разделе рассматривается своеобразие русского модерна, обусловленное особенностями приобщения России к европейской цивилизации и спецификой протекания в ней Нового времени. Особое внимание уделяется исторической взаимосвязи постмодернизма с идеологией коммунизма и эстетикой соцреализма.

Третий раздел посвящен литературным движениям, где выделяются концептуализм и метареализм в поэзии и арьергард в прозе.

Четвертый раздел рассматривает общекультурные и художественно-изобразительные составляющие постмодернизма, в частности концепции игры и музея, взаимоотношение слова и вещи и слова и изображения.

---

<sup>6</sup> См. раздел Библиография в конце книги.

<sup>7</sup> Epstein M. The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995. Это была первая в мировом литературоведении книга о русском постмодернизме.

<sup>8</sup> Epstein M., Genis A., Vladiv-Glover S. Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture. New York, Oxford: Berghahn Books, 1999.

<sup>9</sup> Первое изд.: Постмодерн в России: литература и теория. М.: ЛИА Р. Элинина, 2000. 367 с. Второе, расшир. и перераб. изд.: Постмодерн в русской литературе. М.: Высшая школа, 2005. 495 с. В данное, третье издание внесены новые главы и разделы: «Датаизм и новейшая информационная травма», «Высшая реальность в метареализме и концептуализме», «Концептуализм как прием и как мировоззрение», «Бедная религия», «Рождение культуры из цивилизации», «От *пост* к *прото*. Новое начало – протейзм», «Постмодернизм и взрывное сознание XXI в.», «Постмодерн и искусственный интеллект», «Разговор с Андреем Битовым о постмодернизме». Другие главы также в разной степени переработаны. Книга выходила в переводах на венгерский (2001), на корейский (2009) и в двух переводах на сербскохорватский (1998 г. и двухтомное издание 2010 г.).

Пятый раздел охватывает те движения мысли, которые рефлексивно сопровождали, а отчасти и конструктивно опережали литературно-художественный постмодернизм, определяли его философскую и эстетическую программу.

Шестой раздел очерчивает границы постмодернизма как периода и направления, выделяя те аспекты его становления, где он эстетически перерастает сам себя и открывает пространство новой искренности, сентиментальности, утопизма, противоиронии, будущего после смерти «будущего».

Наконец, седьмой раздел рассматривает новые культурные движения, возникающие на основе постмодернизма и в отталкивании от него, выводящие за его предел в перспективе научно-технического и гуманитарно-творческого развития XXI века.

В заключении определяется роль постмодерна в техно-информационной эволюции человечества, а также соотношение постмодерности как большой эпохи, в начале которой мы живем, и постмодернизма как первого ее периода, приоткрывающего вход в новую культурно-историческую формацию, условно называемую «протеизмом».

В приложении приводится беседа автора с Андреем Битовым, одним из зачинателей русского литературного постмодернизма.

Некоторые новые понятия, выделенные курсивом, объясняются в кратком словаре терминов в конце книги. Более подробное объяснение этих и многих других понятий, обозначающих новые направления в постмодернистской культуре и теории, можно найти в моей книге «Проективный словарь гуманитарных наук»<sup>10</sup>.

С учетом всех компонентов, составляющих книгу, можно сказать, что хронологически она во многом соразмерна своему предмету. Она писалась на протяжении почти сорока лет, одновременно со становлением самого российского постмодернизма, и соответственно предлагает меняющиеся проекции этого явления, разные жанры его описания: от манифестов начала 1980-х до критического анализа и «прощальных» обобщений конца 2010-х. Книга начиналась в 1980-е годы как «проект», как попытка теоретического «подстрекательства» зарождающихся постмодерных движений (метареализм, концептуализм, презентализм, арьергард, лирический музей и др.). Далее, в начале и середине 1990-х, в фокусе внимания оказалась сложная предистория русского постмодерна и его параллели и контрасты с западным. В XXI веке книга заканчивается новыми вопросами – о том, куда же все-таки течет время в эпоху поствременья и что приходит на смену самому *пост*.

---

<sup>10</sup> Есть в открытом электронном доступе: <https://www.e-reading.club/book.php?book=1052218>.



## Раздел 1

### Общие закономерности

#### Информационный взрыв и травма постмодерна

Постмодерн неразрывно связан с развитием коммуникативных сетей и информационных систем, которое заметно ускорилось в 1960-е годы. Сам этот термин «информационный взрыв» («information explosion») впервые зафиксирован в англоязычной научной печати в 1961 году, а в массовой прессе – в 1964 году. Уже тогда наметился рост диспропорции между производством новой информации и возможностью ее восприятия и использования.

Этот разрыв по своим глобальным масштабам напоминает проблему, раньше взволновавшую человечество. В 1798 году Томас Р. Мальтус выпустил свой знаменитый «Опыт о законе народонаселения и его воздействии на будущее усовершенствование общества», где сформулировал закон диспропорции между ростом населения и количеством природных ресурсов для производства продуктов питания. Население возрастает в геометрической прогрессии (2, 4, 8, 16, 32...), тогда как продовольственные ресурсы – только в арифметической (1, 2, 3, 4, 5...). Мальтус предсказал кризис перенаселенности, отрицательные последствия которого напряженно переживались человечеством в XIX и XX веках, особенно в странах третьего мира.

Как известно, острота этого кризиса к концу XX века отчасти миновала – и благодаря успехам технологии, намного превысившей арифметическую прогрессию роста материальных благ, и благодаря успехам просвещения, резко сократившего рождаемость в цивилизованных странах. Тем не менее два века спустя после Мальтуса обнаружилась новая растущая диспропорция в развитии человечества – уже не демографическая, а информационная. Диспропорция между человечеством как совокупным производителем информации – и отдельным человеком как ее потребителем и пользователем.

#### 1. Отставание человека от человечества

*Основной закон истории* получал разную трактовку у Т. Мальтуса и Дж. Вико, у Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса, у О. Шпенглера и П. Сорокина: как рост народонаселения или самопознание абсолютного разума, как усиление классовой борьбы или расцвет и увядание цивилизаций... Мне хотелось бы предложить свою интерпретацию основного закона истории – *отставание человека от человечества*. На протяжении веков возрастают диспропорции между развитием человеческой индивидуальности, ограниченной биологическим возрастом, и социально-технологическим развитием человечества, для которого пока не видно предела во времени. Увеличение возраста человечества не сопровождается столь же значительным увеличением индивидуальной продолжительности жизни. С каждым поколением на личность давит все более тяжелый груз знаний и впечатлений, которые были накоплены предыдущими веками и которых она не в состоянии усвоить. Развитие человечества – информационное, технологическое – непрерывно ускоряется по экспоненте. Та сумма знаний и то количество «новостей», которые накапливались в течение всего XVI или XVII века, теперь поступают за одну неделю, то есть темп производства информации возрастает в тысячи раз, причем информация, накопленная всеми предыдущими временами, также непрерывно суммируется и обновляется. Получается, что человек начала третьего тысячелетия вынужден за свою жизнь воспринять в десятки тысяч раз больше информации, чем его предок всего лишь триста-четырееста лет назад.

Приведу несколько статистических данных об информационном взрыве рубежа XX–XXI веков.

Величайшие библиотеки мира удваивают свои фонды каждые четырнадцать лет, то есть они возрастают в 140 раз каждое столетие. В начале XIII века библиотека Сорбонны считалась самой большой в Европе: 1338 книг. Количество книг, издававшихся в Европе с XVI столетия, удваивалось каждые семь лет. Примерно с такой же скоростью возрастает глобальный объем научно-технической литературы в XX веке.

За тридцать лет (1960–1980-е) было произведено больше информации, чем за предыдущие пять тысяч лет. За два года (2014–2015) было произведено больше информации, чем за всю историю человечества.

90 процентов тех данных, которыми мы распоряжаемся сегодня (или они распоряжаются нами?), созданы за последние два года.

Средний гражданин США за день воспринимает 100 500 слов, будь то электронная почта, сообщения в социальных сетях, поисковые сайты или другая цифровая информация, что соответствует книге объемом 200–300 страниц.

Представим себе стопку книг от Земли до Солнца. Уже в 2014 году объем информации в мире достиг 5 зеттабайт – это эквивалент 4500 таких стопок.

Все слова, когда-либо произнесенные людьми, составляют 5 эксабайт (эксабайт – миллион терабайт). В одном зеттабайте – 1024 эксабайта.

Общая сумма мировых данных с 33 зеттабайт в 2019 году вырастет до 175 к 2025 году при совокупном ежегодном приросте в 61 процент.

Число синаптических операций в секунду в человеческом мозгу находится в диапазоне от  $10^{15}$  до  $10^{17}$ . Уже в 2007 году компьютеры общего назначения могли выполнять более  $10^{18}$  операций в секунду.

Между тем средняя продолжительность жизни за четырехста лет увеличилась не геометрически, а всего лишь арифметически, не более чем вдвое<sup>11</sup>.

## 2. Постмодерная травма

Алексей Андреевич Ляпунов (1911–1973), советский математик и пионер информатики, предупреждал еще в начале 1970-х годов, что избыток информации может привести к неврозам как у животных, так и у людей. Он писал:

«Можно себе представить, что в живой природе существуют еще совсем другие факторы, ограничивающие возможность концентрации информации. Например, слишком большое количество информации, поступающей человеку в короткий срок, не может быть им усвоено. В экспериментах известного физиолога Л. В. Крушинского был зарегистрирован весьма интересный факт. Если подопытное животное в процессе эксперимента получало слишком много информации или слишком сложную информацию, то оно впадало в состояние невроза. Это тоже говорит о наличии некоторого физиологического ограничения возможности концентрировать информацию в сознании живых существ за ограниченное время. Ясно, что раскрытие содержания этого ограничения требует специальных экспериментов»<sup>12</sup>.

Слишком большой объем информации вызывает невроз, то есть *травму* в современных психологических терминах. В то же время ясно, что основные ресурсы общественного богатства сегодня скорее информационные, чем промышленные или сельскохозяйственные. Чем

---

<sup>11</sup> Средняя продолжительность человеческой жизни в начале нашей эры была двадцать – двадцать пять лет, в конце XVIII в. – тридцать пять – сорок (в Западной Европе и Северной Америке). Статья «Биологический рост и развитие» в Британской энциклопедии.

<sup>12</sup> Ляпунов А. А. О соотношении понятий материя, энергия и информация // Ляпунов А. А. Проблемы теоретической и прикладной кибернетики. М.: Наука, 1980. С. 167. См.: <http://elibrary.sbras.ru:8080/jspui/bitstream/SBRAS/5742/4/Lyapunov7.pdf>.

больше информации, тем лучше для человечества. Следовательно, интенсивность травматического опыта неизбежно растет с развитием цивилизации. Это объясняет некоторые из самых зловещих последствий информационного взрыва, которые мы могли наблюдать в XX и XXI веках. Индивид все более чувствует себя калеккой, не способным полноценно воспринимать окружающую информационную среду. Это особого рода увечье, в котором человек лишается не внешних, а внутренних органов: зрение и слух принимают на себя чудовищную нагрузку, которой не выдерживают мозг и сердце.

В то же самое время в начале 1970-х годов, когда А. А. Ляпунов писал о неврозах информационной перегрузки с точки зрения кибернетики, Александр Шмеман, богослов и проницательный критик культуры, отмечал психологические издержки той же перегрузки в своих студентах. Он говорил «о том напряжении, в котором всем нам приходится жить – в школе, в семинарии, повсюду, об утомлении от этого напряжения. Мое убеждение в том, что коренная ошибка здесь – это вера современного человека, что благодаря „технологии“ (телефон, хегах и т. д.) он может „уложить“ во время гораздо больше, чем раньше, тогда как это невозможно. И вот – он раб собственной своей, в геометрической прогрессии растущей „занятости“. <... > Почему студенты не „воспринимают“ то, что им „преподается“? Потому что они не имеют времени „осознать“, то есть вернуться к тому, что слышали, дать ему по-настоящему войти. Современный студент „регистрирует“ знание, но не принимает его. И потому оно в нем ничего не „производит“»<sup>13</sup>.

Этот «травматизм», вызванный растущей диспропорцией между человеком, чьи возможности биологически ограничены, и человечеством, которое неограниченно в своей техноинформационной экспансии, и приводит к постмодерной «чувствительности», как бы безучастной, притупленной по отношению ко всему происходящему. Постмодерный индивид всему открыт, но воспринимает все как знаковую поверхность, не пытаясь даже проникнуть в глубину вещей, в значения знаков. Постмодернизм – культура легких и быстрых касаний, в отличие от модернизма, где действовала фигура бурения, проникания внутрь, взрывания поверхности. Поэтому категория реальности, как и всякое измерение в глубину, оказывается отброшенной – ведь она предполагает отличие реальности от образа, от знаковой системы. Постмодерная культура довольствуется миром симулякров, следов, означающих и принимает их такими, каковы они есть, не пытаясь добраться до означаемых. Все воспринимается как цитата, как условность, за которой нельзя отыскать никаких истоков, начал, происхождения.

Но за таким поверхностным восприятием стоит, в сущности, травматический опыт, результатом которого и является пониженная смысловая чувствительность. Теория травмы – один из самых динамичных разделов современной психологии и вообще гуманитарных наук. Травма, в психологическом смысле, имеет две отличительные черты. Во-первых, травма – это опыт, столь трудный и болезненный, что мы не в состоянии его усвоить, воспринять, пережить, – и поэтому он западает в подсознание. Реакция на травматический опыт запаздывает по сравнению с моментом воздействия, часто на много лет. Во-вторых, травма изживает себя впоследствии какими-то действиями или состояниями, которые по смыслу и по теме напрямую никак не связаны с историческим или бытовым контекстом, в котором они разворачиваются. Это неадекватная, часто бессмысленно-монотонная реакция на изначальный, забытый травматический опыт. По словам Майкла Герра, «понадобилась война, чтобы понять: мы ответственны не только за то, что делаем, но за все, что видим. Трудность в том, что мы не всегда понимаем, что видим, или понимаем не сразу, а лишь позже, быть может, годы спустя. И все равно большая часть увиденного не осознается, просто продолжает стоять в глазах»<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Шмеман А. Дневник, запись 30 сентября 1977 г. Основы русской культуры. Беседы на радио «Свобода». 1970–1971. См.: <http://www.rp-net.ru/book/OurAutors/shmeman/dnevnik.php>.

<sup>14</sup> Herr M. Dispatches // Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore; London: The Johns Hopkins UP, 1996. P. 10.

В этом смысле поздний советский и постсоветский концептуализм может рассматриваться как травматическое событие. Советская идеология бомбардировала сознание сотнями сильнодействующих и непрестанно повторяющихся стереотипов, которые травмировали целое поколение и вышли наружу в поэзии, подчеркнуто отстраненной, бесчувственной, механизированной. Концепты, какими они предстают в текстах Пригова и Рубинштейна, – все эти «москвичи», «милиционеры», «рейганы» и «грибоедовы» – это образы травмированного сознания, которое играет ими, изживает их, не вкладывая в них ничего, как на отслоенной сетчатке глаза. До мысли и сердца эти образы не доходят и не должны дойти, да и сами «мысль и сердце» представляются в рамках концептуализма вполне условными знаками, идеологемами, сконструированными по типу «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи».

Знаменательно, что концептуализм появился не в десятилетия массированного натиска идеологии, а позже, когда идеология перестала восприниматься буквально, – как своего рода запоздалая отдача образов и звуков, накопленных зрением и слухом, но отторгнутых сознанием. Пока мы воспринимаем идеологию как прозрачное свидетельство о реальности, растворяем ее в своем сознании, она скрывает от нас свою собственную знаковую реальность, которая становится оглушительной и травмирующей, как только мы перестаем верить и понимать, но продолжаем воспринимать. Это восприятие минус понимание (а также минус доверие) и создает шизофренический раскол между органами чувств, которые продолжают наполняться образами и знаками, и интеллектом, который более не впускает и не перерабатывает их.

Тот же самый травмирующий процесс шел и в западной культуре под воздействием массовых средств коммуникации, нарастающий натиск которых парализовал способности восприятия уже двух поколений. Одно только телевидение, со своими сотнями каналов и тысячами ежедневных передач, повергает зрителя в интеллектуальный паралич. Избыток разнообразия может так же травмировать, как избыток повторяемости и однообразия. В этом смысле бесконечный информационный поток Запада по своему травматическому воздействию соотносим с чудовищным упорством и однообразием советской идеологической системы. Результатом в обоих случаях была травма сознания, давшая на рубеже 1960–1970-х годов толчок развитию постмодернизма, с его оцепененной и как бы сновидческой ментальностью: все, что ни проплывает перед зрением и слухом, воспринимается как единственная, последняя, доподлинная реальность. Тексты, графики, экраны, мониторы – а за ними ничего нет, они никуда не отправляют.

Постмодерные образы «стоят» в глазах и ушах, как отпечатки и отзвуки усиленного давления идеологии или информации на органы чувств. Мы запасаемся этими впечатлениями, которые откладываются в наших органах восприятия, – но мы не в состоянии их осмыслить и целенаправленно использовать. Отсюда характерный эклектизм постмодерного искусства, которое лишено как апологетической, так и критической направленности, а просто равномерно рассеивает значения по всему текстовому полю. Даже теоретические понятия постмодернизма, такие как «след» у Жака Деррида, несут отпечаток информационной травмы. «След» тем отличается от знака, что лишен связи с означаемым, которое предстает всегда отсроченным, отложенным на потом и никогда ни в чем не являет себя. Такова особенность травматической реакции, которая не только запаздывает по сравнению со стимулом, но и неадекватна ему. Травма оставляет след, с которого не считывается его подлинник, – и поэтому подлинник представляется исчезнувшим или никогда не бывшим. Весь теоретический аппарат деконструкции, с его «следами», «восполнениями», «отсрочками», критикой «метафизики присутствия» и отрицанием «трансцендентального означаемого», – это развернутый в понятиях и терминах культурно-травматический опыт, рядом с которым витает призрак физической травмы. Конечно, в красном сигнале светофора можно прочесть следы прочих сигналов – зеленого и желтого (поскольку они соотнесены в рамках одной знаковой системы). Но если не прочесть означаемого, то есть мчащейся наперерез машины, то итогом такого деконструктивного подхода может

быть гибель самого деконструктивиста. Между тем «след» в понимании деконструкции – это именно след других знаков в данном знаке, а не след означаемого в означающем.

Не потому ли Америка так жадно принимает и усваивает постмодерную теорию, что почва для нее здесь взрыхлена информационным взрывом? Средний американец, проводящий треть жизни (остальное – сон и работа) у телевизора в непрерывном блуждании от программы к программе или у компьютера в плавании по волнам Интернета, может достоверно воспринимать только мелькание означающих, поскольку их связь с означаемыми предполагает более глубокое вхождение в сферу знака. «Цепи означающих», «игра означающих», «симулякры», «гиперреальность» и прочие термины постструктурализма отражают травмированность сознания, которое закружено информационным вихрем и сорвалось с семиотической оси «означающее – означаемое», утратило интуицию глубины и волю к трансценденции.

Состояние эйфории, присущее постмодерну, не противоречит его травматической природе. Эйфория может быть последствием травмы, которая образует ее бессознательный фон. Травма препятствует глубинному постижению объектов – и потому сознание легко скользит по их поверхности, отдается радости безотчетного восприятия. Травма выбрасывает нас на уровень внешних раздражений, где мы испытываем опьянение пестротой и разнообразием, праздник нескончаемых различий. Да и сама травма действует как анестезия: лишь в первый момент она причиняет боль, а затем притупляет саму способность восприятия боли, парализует нервные окончания. «...Некто полузадушенным голосом говорит о том, как он счастлив...» (Лев Рубинштейн. Все дальше и дальше).

### 3. Референция от обратного

Это не значит, что постмодернизм вообще порывает с реальностью и теряет всякую референтную связь с ней. Но референция (отображение) здесь осуществляется «от противного», не как прямая репрезентация реальности (реализм) и не как авторепрезентация субъекта, говорящего о ней (модернизм), а именно как невозможность репрезентации. Таково референтное значение травмы – она указывает на свою причину именно тем, что никак не выдает ее, отказывает ей в адекватном отзыве, образует слепое пятно в памяти.

Рука способна осязать предмет и получать адекватное впечатление о нем. Но что, если рука отморожена и потеряла всякую чувствительность? Пальцы уже не могут воспринимать действительность, но это не значит, что референтная связь с нею утрачена. Отмороженная рука свидетельствует о реальности самого мороза, то есть той силы (причины), которая травмировала руку, вызвала потерю чувствительности. Это негативная референция, которая не воспроизводит реальности посредством достоверных образов, но указывает на непредставимое, немислимое, нечувствуемое. Как подчеркивает современный специалист по теории психологической травмы Кэти Карут, травма, с одной стороны, прерывает процесс отсылки к реальности, делает невозможным прямое ее восприятие, но, с другой стороны, вводит в действие отрицательную референцию как свидетельство о том катастрофическом, чрезмерном опыте, который разрушает саму предпосылку опыта. «Попытка найти доступ к истории данной травмы есть также проект вслушивания в нечто за пределами индивидуального страдания, в реальность самой истории, чьи кризисы могут быть постигнуты только в формах неусвоения»<sup>15</sup>.

Таковы референции постмодернизма как травматического опыта – они ведут к реальности не прямо, а от противного, подобно тому как реальность, окружавшая калеку, может быть воспроизведена не по его искаженным и отрывочным впечатлениям от нее, а по тем воздействиям, которые, собственно, и сделали его калекой. Сожженная кожа или ослепшие глаза не

<sup>15</sup> Trauma: Explorations in Memory / Ed. by C. Caruth. Baltimore; London: The Johns Hopkins UP, 1995. P. 156.

воспринимают тепла или света, но именно поэтому достоверно передают реальность взрыва, причинившего увечье. Бесчувственность правдиво отражает ситуацию подавления чувств.

Какова, собственно, наиболее адекватная реакция на взрыв атомной бомбы? Подробное наблюдение за ней – или утрата способности зрения? Не есть ли слепота – самое точное свидетельство тех событий, которые превосходят способность восприятия и, значит, оставляют свой след в виде травм и контузий, рубцов и царапин, то есть знаков, начертанных на теле, а потому и читаемых как свидетельства? По словам известного литературоведа Джеффри Хартман, произнесенным на открытии архива жертв холокоста, «мой ум забывает, но мое тело сохраняет рубцы. Тело – кровотокающая история»<sup>16</sup>.

Из теории травмы следуют важные выводы для теории познания вообще, а также для понимания генезиса культуры. Тот факт, осмысленный И. Кантом, что мы не можем непосредственно воспринимать «вещи-в-себе», реальность «как она есть», – не свидетельствует ли о самой природе этой «подлинной», «первичной» реальности, оглушающей и ослепляющей нас? Нельзя исключить, что и вся культура есть результат огромной доисторической травмы, следствием которой стал раскол на вещи-для-нас и вещи-в-себе, на означающее, которое дано восприятию, и означаемое, которое удалено и сокрыто. Знак – это и есть такой шрам или рубец на нашем сознании: отсылка к предмету, который не может быть явлен здесь и сейчас. Не есть ли культура, как процесс непрерывного порождения символов, – последствие родовой травмы человечества, способного судить о реальности лишь по увечьям, которые она ему наносит?

В этом смысле постмодернизм – зрелое самосознание увечной культуры, и не случайно так распространены в его топике образы калек, протезов, органов без тела и тела без органов. XX век – начало цивилизации протезов, где люди общаются между собой посредством приборов, подсоединенных к органам чувств. По мере встраивания человека в грандиозно распростертое информационное тело человечества неизбежно будут возрастать протезно-электронные составляющие индивидуального тела, ибо ему будет не хватать глаз, ушей, рук для восприятия и передачи всей информации, необходимой для исполнения человеческих функций. Там, где органы утрачивают взаимосвязь в цельности организма, там они опосредуются протезами – экранами, дисками, компьютерами, телефонами, факс-машинами. Все это – удлинители и заменители телесных органов и нервной системы, травмированных избытком информации<sup>17</sup>. Между моей рукой, которая в этот момент нажимает на клавиши компьютера, и моими глазами, которые смотрят на экран, находятся десятки проводов, тысячи мегабайт электронной памяти и непредставимое для меня число микропроцессоров и микросхем. Да собственно, и нервы, кровеносные сосуды и другие элементы моего организма, опосредованные «протезами» (пластмасса, металл, провода, радиоволны), сами выступают как некие более или менее удобные линии коммуникации, как заменители проводов и микропроцессоров, как протезы протезов. Поэтому культура, приходя на подмогу технике, разрабатывает такой фрагментарный или агрегатный образ тела, где все части могут быть разобраны, дополнены протезами и собраны в другом порядке «Короче, мы должны считать наши органы, руки, пальцы, грудь... тем, что они есть сами по себе, отделенными от органического единства тела... Мы должны, иными словами, расчленить, изуевчить тело...» – так говорил Поль де Ман<sup>18</sup>.

И хотя Ж. Делёз и Ф. Гваттари в книге «Анти-Эдип: капитализм и шизофрения» полагают «расчленение» тела «шизоидным» вызовом и революционным ударом по современной

<sup>16</sup> Университет Эмори (Атланта, США), ноябрь 1996 г.

<sup>17</sup> Профессор Tom Steiner из Bradford University (Yorkshire) разделяет индустриальную революцию на три стадии: 1) машины, которые увеличивают силу человеческих мускулов; 2) машины, которые расширяют возможности нервной системы (радио, телефон, телевизор); 3) машины, которые расширяют возможности мозга (компьютеры). См.: *Large P. The Micro Revolution Revisited*. New Jersey: Rowman and Allanheld Company, 1984.

<sup>18</sup> *De Man P. Phenomenality and Materiality in Kant // Hermeneutics: Questions and Prospects* / Ed. by Shapiro G. and Sica A. Amherst: University of Massachusetts Press, 1984. P. 19.

«капиталистической» цивилизации, все обстоит ровно наоборот: именно эта информационная цивилизация вполне успешно и конформно расчленяет нас, отделяя глаза от рук, ноги от ушей, сознание от тела... Человек – уже не столько «чело века» (А. Белый), сколько *«увечье века»*. Вызовом шизоидному обществу была бы попытка собрать человека воедино, но не станет ли такой цельный, универсальный человек ренессансного типа помехой дальнейшему развитию цивилизации методом непрерывного деления – специализации и протезирования? Любой намек на целостность и единство встречает яростное сопротивление у западных интеллектуалов, как зародыш грядущих репрессий, как угроза тоталитаризма. Между тем, как гласит старое латинское изречение (*«divide et impera»*), властвует не тот, кто объединяет, а тот, кто разделяет.

Бурные потоки мелких информационных частиц непрерывно бомбардируют наше сознание, вызывая онемение и омертвление мыслительных, да и восприимчивых способностей. Мы не видим того, что у нас перед глазами, потому что в глазах стоят образы, не воспринятые сознанием. Точно так же слух, травмированный оглушительной музыкой, уже не воспринимает шелеста травы и шепота девы.

Можно предвидеть то время, когда только исключительные индивиды будут в состоянии соответствовать уровню информационного развития цивилизации, то есть быть воистину цивилизованными и воистину людьми. Потом отстанут и они – и цивилизация понесется вперед, уже не просто никем не управляемая, но в целом и никем не воспринимаемая, как вихрь, пронесший мимо кучи пыли и какие-то обломки. Между человеком и человечеством становится все меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов.

#### 4. Специализация и дезинтеграция

Основной способ сокращения разрыва – это сжатие и уплотнение форм культуры, чтобы вместить в биологический срок одной жизни объем основной информации, накопленной человечеством. Отсюда – возрастающая роль дайджестов, антологий и энциклопедий, переваривающих и суммирующих знание, которое предыдущими поколениями воспринималось в первичной, сырой, экстенсивной форме. Еще Вольтер говорил: «Многочисленность фактов и сочинений растет так быстро, что в недалеком будущем придется сводить все к извлечениям и словарям»<sup>19</sup>. Все меньше людей читают классические романы XVIII–XIX веков, зная о них в основном по энциклопедиям, кратким пересказам, кинопереложениям или критическим статьям, – и трудно их в этом винить, потому что им ведь приходится теперь знать не только Вольтера и Толстого, но и Джойса, Пруста, Фолкнера, Т. Манна, Набокова, Маркеса, У. Эко, а срок их жизни увеличился всего на одну четверть.

Отсюда, кстати, и преобладание критики над литературой, вообще вторичных, метадискурсивных языков над первичными, объектными: это тоже способ сжатия, сокращения больших культурных масс с целью приспособить их к малому масштабу человеческой жизни. Культура человечества интенсивно перерабатывает себя в микроформы, микромодели, доступные для индивидуального обзора и потребления. (Если бы удалось вдруг чудом увеличить средний срок человеческой жизни до тысячи лет, культура опять приняла бы более экстенсивный характер, люди не торопясь читали бы Гомера и Толстого в подлиннике и отводили бы лет двадцать на изучение только эпохи Античности.) Отсюда же и создание высокотехнических форм хранения и передачи информации. Раньше в поисках нужных книг приходилось ездить по всему миру, вскоре не нужно будет даже ходить в библиотеку, ибо все книги умещаются в памяти маленького компьютерного ящика.

---

<sup>19</sup> Цит. по кн.: Слово о книге. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты // Сост. Е. С. Лихтенштейн. М.: Книга, 1984. С. 11.

Этот процесс можно назвать *инволюцией*, и он протекает параллельно процессу эволюции. «Инволюция» означает свертывание и одновременно усложнение. То, что человечество приобретает в ходе исторического развития, сворачивается в формах культурной скорописи. Развитие культуры, переход от одной культурной эпохи к другой – это инволюция в той же мере, что и эволюция, попытка установить баланс между этими двумя процессами, чтобы сохранить соразмерность между человеком и человечеством.

Но инволюция создает такие уплотненные формы культуры, которые, в свою очередь, включаются в стремительный процесс эволюции. Критика сжимает литературные ряды, но множатся метаязыки культуры, и над ними выстраиваются метаязыки следующих порядков. По этой и другим причинам равновесие оказывается недостижимым, и инволюция все-таки отстает от эволюции. Следствия этого отставания многочисленны. Среди них – дальнейшая специализация культуры и локализация субкультур, так что человек все менее проецирует себя как культурного индивида на карту всего человечества и все более – на карту местной культуры или узкой специальности, с которой он чувствует себя более соизмеримым. Отсюда заострившаяся к концу XX века проблема многокультурия – множество субкультур притязают на то, чтобы стать полноценными культурами и заменить собой общечеловеческую культуру. Разговоры о «человечестве» и «человеческом» в кругу прогрессивных западных интеллектуалов так же нелепы и невозможны, как в марксистской партиячке начала века. Есть бедные и богатые, мужчины и женщины, «гомо» и «гетеро», черные и белые, люди с высоким и низким доходом, жители маленьких и больших городов... а «человек» – это просто вредоносный миф или глупенькая абстракция, созданная либералами-утопистами.

Точно так же стремительно локализуются все формы человеческого знания и деятельности. Если сейчас еще возможно быть специалистом только по Лейбницу или по Гегелю – для этого нужно «всего-навсего» прочитать сотню-другую книг, то лет через сто даже такая узкая внутрифилософская специализация окажется недопустимо широкой, ведь по одному Лейбницу будут написаны тысячи книг и еще десятки тысяч по его эпохе, по его связям с современниками и потомками, чего не сумеет освоить ни один специалист за пятьдесят-шестьдесят лет своей жизни в науке. Возникнут специалисты по одному периоду, проблеме или даже одному произведению Лейбница или Гегеля. Но главным результатом такой растущей диспропорции между общечеловеческой культурой и формами индивидуального ее освоения будет информационная шизофрения и травматизм... А возможно, и интеллектуальное вымирание человечества, о чем предупреждал Р. Бакминстер Фуллер, американский мыслитель и ученый-одиночка редчайшего для XX века универсалистского склада, автор ныне популярного понятия «синергия»: «На своих передовых рубежах наука открыла, что все известные случаи биологического вымирания были вызваны избытком специализации, избирательной концентрацией немногих генов за счет общей адаптации. <...> Между тем человечество лишилось всеобъемлющей способности понимать. Специализация питает чувства изоляции, тщетности и смятения в индивидах, которые в результате перекладывают на других ответственность за мысли и социальные действия. <...> Только полный переход от сужающейся специализации ко все более всеохватному и утонченному всечеловеческому мышлению – с учетом всех факторов, необходимых для продолжения жизни на борту космического корабля Земля, – может повернуть вспять курс человека на самоуничтожение в тот критический момент, когда еще сохраняется возможность возврата»<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Buckminster Fuller R. Synergetics. Explorations in the Geometry of Thinking. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1975. P. XXV, XXVI.



## 5. Век новых катастроф?

Информационный взрыв таит в себе не меньшую опасность, чем демографический. По Мальтусу, человечество как производитель отстает от себя же как потребителя, то есть речь идет о соотношении совокупной биологической массы и совокупного экономического продукта человечества. Но в состязании с самим собой у человечества все же гораздо лучшие шансы, чем у индивида в состязании со всем человечеством. Как выясняется к началу третьего тысячелетия, основные ресурсы общества – не промышленные или сельскохозяйственные, но информационные. Если материальное производство человечества отстает от его же материальных потребностей, то еще более отстает информационное потребление индивида от информационного производства человечества. Это кризис не перенаселенности, а непонимания, кризис родовой идентичности. Человечество может себя прокормить – но может ли оно себя понять, охватить разумом индивида то, что создано видовым разумом? Хватит ли человеку биологически отмеренного срока жизни, чтобы стать человеком? Индивид перестает быть представителем человечества – и становится профессиональной особью, представляющей узкий класс «специалистов по романтизму Пушкина», – а также этнической, сексуальной, расовой, классовой особью, представляющей мельчающие подклассы, отряды, семейства человеческого рода.

Может быть, одним из первых об опасности культурного взрыва и дезинтеграции человечества предупреждал немецкий философ Вильгельм Виндельбанд: «Культура слишком разрослась, чтобы индивид мог обозреть ее. В этой невозможности заключена большая социальная опасность. <...> Сознание единой связи, которая должна господствовать во всей культурной жизни, постепенно утрачивается, и обществу грозит опасность распасться на группы и атомы, связанные уже не духовным пониманием, а внешней нуждой и необходимостью. <...> Будучи не способен проникнуть в глубину, особенность и содержание образованности других сфер, современный человек удовлетворяется поверхностным дилетантизмом, снимая со всего пену и не касаясь содержания»<sup>21</sup>.

Симптомы опасности, описанные Виндельбандом сто сорок лет назад, очень похожи на современные, «постмодерные» – и кажется, это позволяет легко от них отмахнуться. Сто сорок лет прошло – и ничего страшного не случилось. Как это не случилось? А разве мировые войны и революции XX века – не следствие того атомного распада человечества, о котором предупреждал Виндельбанд? Причем угроза явилась из той страны, которая шла в авангарде культурного развития человечества – и по странному совпадению стала виновницей двух мировых войн. Как замечают Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в связи с нацификацией Германии, «прогресс в направлении учреждения нового порядка в широкой мере поддерживался теми, чье сознание не поспевало за прогрессом, банкротами, сектантами, дураками»<sup>22</sup>. Это именно то, о чем предупреждал Виндельбанд за семьдесят лет до того, как «диалектика Просвещения» повернулась к Германии своей обратной, темной стороной: «Наша культура стала настолько разветвленной, настолько многообразной, настолько противоречивой, что индивид уже не может полностью охватить ее»<sup>23</sup>. И тогда наступает пора насильственного упрощения культуры по линии нацификации или классового подхода. Там, где рвется связь человека и человечества, наступает конец гуманизма. И можно только гадать, к каким социальным взры-

<sup>21</sup> Виндельбанд В. Фридрих Гельдерлин и его судьба (1878) // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М.: Юристъ, 1995. С. 136–137.

<sup>22</sup> Хоркхаймер М., Адорно Т. Против всезнайства // Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / Пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб.: Медиум Ювента, 1997. С. 258.

<sup>23</sup> Виндельбанд В. Указ. соч. С. 136.

вам и потрясениям XXI века может привести тот информационный взрыв, участниками которого мы являемся на исходе XX.

Умникам конца XX века, вооруженным компьютером и Интернетом, легко сойтись в презрении к «дуракам», увечным информационного века, оставшимся на обочине скоростных магистралей знания. Но не забудем, что «к числу преподаваемых эпохой Гитлера уроков относится урок о глупости умничанья. <...> Обо всем осведомленные умники всегда и везде облегчали дело варварам...»<sup>24</sup> Подобный же урок преподавала нам и эпоха Ленина – Сталина. Как бы нам в XXI веке не напороться на этого дурака, как либеральные, богатые, просвещенные в XX веке напоролись на пролетария. Марксова теория абсолютного обнищания пролетариата не подтвердилась, но даже относительного и временного обнищания хватило на все революции и ужасы нашего века. Поскольку к началу XXI века основные формы богатства и накопления переходят в область информации, можно ожидать социальных взрывов от тех, которые оказались обделенными информационным капиталом и не вписались в информационное общество.

Между прочим, среди «дураков» встречаются отменно умные и хитрые, так сказать, гении и вожди армии дураков, профессиональные «идиоты» прогресса, которые на любых умников найдут управу. Ленин, Сталин, Гитлер... По словам Хоркхаймера и Адорно, «те, кто пришел к власти в Германии, были умнее либералов и глупее их»<sup>25</sup>. В голову «умных дураков» не влезают сложности идеализма, символизма, авангарда, психоанализа, богоискательства и прочих очень мудреных вещей, но зато им хватает ума наставить пушки на эти сложности и поставить всех умников к стенке, да еще и внушить к себе идейное благоговение среди казнимых поэтов и профессоров. Собственно, большевизм и фашизм – это восстание выкидышей прогресса против его сложностей и заморочек, и какое победоносное восстание!

Все это предсказано у Достоевского в образе джентльмена с насмешливой и ретроградной физиономией, который однажды встанет, упрет руки в боки да и предложит человечеству пожить «по своей глупой воле», а всякие хрустальные дворцы и мозговые химеры компьютерного царства пустить под откос («Записки из подполья»). Раньше легко было принять Ленина за воплощение этого пророчества (портретное сходство с джентльменом: и физиономия насмешливая и неблагородная, и руки в боки), но теперь очерчивается и более дальняя перспектива. Ведь Ленин, хотя бы по намерениям своим, и сам еще был строителем хрустальных дворцов, хотя бы и очень примитивной конструкции, а тот, кто придет, уже прямо станет посланцем «глупой воли», то есть государственно поощряемого бандитизма и терроризма, новой войны варваров против цивилизации. Трудно предположить, в какие формы это может вылиться, – но революции XX века могут показаться шалостями уличных забияк в сравнении с информационными бунтами XXI века. Это может быть и изоцирковая вирусомания, и хитрая перенастройка сетей – не обязательно луддитство с топором против компьютера.

Есть ли какая-то связь между ростом исламского фундаментализма, поворотом России к архаике и Средневековью, британским брекситом и успехом трампизма в США? Мне представляется, что все это – разнородные реакции на ускоренный интеллектуально-технологический прогресс общества и ответное враждебное сплочение тех, кто чувствует себя отверженными информационного века. Образуется новый арьергард – людей, отстающих от человечества, отброшенных на его периферию. Линия раздела проходит не столько между богатыми и бедными, сколько между «умными» и «глупыми», теми, кто вписывается в современную цивилизацию, и теми, кто по разным причинам не может или не хочет в нее интегрироваться. Воинствующий арьергард – это и исламский фундаментализм, и северокорейский «чучхеизм», и российское «евразийство», и европейские националисты, и трамписты-изоляционисты в США. Все эти движения конца XX – начала XXI века – новое восстание арьергарда против информа-

<sup>24</sup> Хоркхаймер М., Адорно Т. Указ. соч. С. 257.

<sup>25</sup> Там же. С. 258.

ционно-технологического авангарда человечества. И конечно, у всякого арьергарда найдется свой авангард. Многие лидеры начала XXI века страдают политической агорафобией, их объединяет страх перед открытым пространством человечества, от которого они хотят обособиться в своих геополитических, религиозных, национальных и прочих нишах. Диагноз этой болезни: фронемофобия – боязнь мысли – и сопутствующая ей элетерофобия – боязнь свободы.

Общий вывод: любая диспропорция в развитии человечества рано или поздно находит насильственный и катастрофический выход, вслед за чем начинается пора отрезвления и мирного урегулирования социальных, демографических, а в будущем информационных кризисов. Да, и красная, и коричневая чума в значительной степени исчезли с лица земли, но успели унести миллионы жизней! Постепенно решается и мальтузианский вопрос, но тоже не бескровно – миллионы голодающих и уже умерших от голода. Поэтому и к следующей, все более явной диспропорции нужно отнестись как можно серьезнее и предугадать ее последствия заблаговременно. Это вопрос поглупения основной массы людей относительно накопленного ума человечества. Если в XIX веке такими отверженными от материального прогресса и изобилия представляли пролетарии, то как мы назовем эту растущую группу людей в XXI веке? Людьми «глупой воли»? Жертвами информационного взрыва? Юродивыми компьютерного века?

Сложность в том, что информационные богатства труднее распределить, чем материальные, хотя на первый взгляд верно обратное. Чтобы распределить кусок хлеба между пятью едоками, нужно поделить его на пять частей, то есть создать предпосылку недоедания. А чтобы распределить одну идею между пятью умами, не нужно ее делить, напротив, она впятеро умножится, усвоенная каждым умом по-своему. Информационный капитал легко умножается и изживает категорию редкости, но зато приносит новую, еще неведомую нам трагедию – непотребляемого избытка. Ум, который не может воспринять какой-то идеи или информации, легко потребляемой другими, – это уже в зародыше злой, разрушительный ум. Непонимание страшнее недоедания, потому что голодному можно дать хлеба, а непонимающему, «глупому» нельзя дать идеи – он ее не может потребить. Это как голодающий человек без желудка. Как его накормить? Нет ничего, что могло бы его насытить, потому что нехватка – не извне, не в скудости ресурсов, а в скудости самой потребляющей способности ума. И от этих непонимающих будут исходить соответствующие импульсы злой воли во Всемирную сеть, построенную именно на прямом сотрудничестве и взаимодействии сознаний.

Глупость и ум, информационная насыщаемость сознания, становятся более решающими факторами, чем материальная собственность, разделение на богатых и бедных. Бедные XXI века – это бедные разумом, непонимающие, неспособные вобрать в себя то, что является общепризнанным капиталом человечества: знания, идеи, информацию. В силу ограниченного срока жизни и нарастающего отставания от человечества подавляющее большинство людей будут попадать в разряд бедных. Каким способом они отомстят человечеству за этот растущий разрыв? Разделятся ли они на подвиды и стаи, вроде черных, бурых и белых медведей, как те мультикультурные сообщества по признакам расы, этноса, пола и половых предпочтений, которые уже витают в сознании передовых постмодерных теоретиков, так что каждая группа замкнется в своем информационном биоценозе? В этом случае человечество, устоявшее перед угрозой ядерной бомбы, истребит себя бомбой информационной – не уничтожит себя физически как вид, зато разобьется на мельчающие информационные, а затем и техно-генетические подвиды.

Одним из таких подвидов, наряду с «новыми глупыми», могут стать и «новые умные» – те, кого информационное общество отталкивает своим плоским интеллектуальным самодовольством. С этой точки зрения беда инфосоциума – не его чрезмерная усложненность, а, напротив, его поверхностная нахватанность, напичканность знаниями, которая заменяет привычку мыслить. По Теодору Роззаку, философу и историку, автору «неолуддитского» манифеста против инфократии, обилие данных глушит творческую способность ума. «...Ум работает

с идеями, а не с информацией. Информация может лишь с пользой иллюстрировать или декорировать идею...»<sup>26</sup> Культ информации обедняет мир идей, образов, интуиций и упраздняет разницу между телефонной книгой и «Илиадой» Гомера: то и другое просчитывается в байтах. Особенно пагубно, по Роззаку, культ информации отражается на школе и подрастающих поколениях, которые глупеют в той же мере, в какой умнеют мыслящие автоматы.

Таким образом, информационное общество не только делится на мельчающие человеческие подвиды, но и выделяет из себя противников с двух сторон: мало понимающих и самых мыслящих. Неолуддитами становятся и варвары, и аристократы духа.

Двести лет спустя после Мальтуса в повестку следующего века встает закон ускоренного производства информации и как следствие его – растущий разрыв между человеком и человечеством.

## 6. Постинформационный шум

Казалось бы, компьютер решает проблему сжатия информационных ресурсов в самой компактной и общедоступной форме. В ряде отзывов, поступивших на первую публикацию этой статьи в Интернете в 1998 году<sup>27</sup>, указывалось, что Интернет – это и есть самое надежное средство умного распределения информационных потоков, так что каждый потребитель будет получать именно ту информацию, которую ему по силам усвоить. Но тут возникает новый круг проблем. Дело в том, что с Интернетом каждый потребитель информации становится и ее потенциальным производителем, получает в руки совершенный механизм для неограниченного распространения своих идей, а чаще – для фиксации нерелексивного потока сознания. Пропускная способность Интернета в принципе бесконечна, а главное, обратима, так что от создания текста до его публикации неограниченным тиражом – всего лишь нажатие нескольких клавиш. Если дефицит бумажно-издательских ресурсов ограничивал доступ автора к печати множеством редакционных фильтров и цензов (образовательных, профессиональных, стилевых и т. д.), то теперь всякий желающий может наполнять Сеть бесконечными страницами своей «ассоциативной прозы» или непринужденного разговора. Помноженный на ряды пользователей Интернета, информационный взрыв усиливается в миллионы раз, повсюду распространяя свои шумовые волны, которые уже не несут в себе никакой информации.

Например, на вышеупомянутую в сетевом «Русском журнале» статью пришло более сотни откликов, из которых 90 % не имели ни малейшего отношения к теме или зацепляли ее, может быть, только десятым значением двадцатого слова. Это отмечалось и некоторыми участниками дискуссии, которые удивлялись или возмущались беспредметностью отзывов, которые так же относились к теме статьи, как кашель в концертном зале относится к исполняемой музыке. Статью окружил информационный шум, быстро перерастающий в грохот многостраничных беспредметных комментариев – своего рода «heavy metal», исполняемый на компьютерных клавишах.

Информационный взрыв – это лишь тлеющий огонек на пути к настоящей взрывчатке, *постинформационному* обществу, где любая осмысленная фраза моментально тонет в «белом шуме». Результат – борхесовская «вавилонская библиотека», в которой есть все, что когда-либо было, будет и может быть написано, и «на одну осмысленную строчку или истинное сообщение приходится тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры. <...>Для Библиотеки бессмыслица обычна, а осмысленность (или хотя бы всего-навсего связность) – это

<sup>26</sup> Roszak Th. The Cult of Information. A Neo-Luddite Treatise on High-Tech, Artificial Intelligence, and the True Art of Thinking. (1986) Berkeley et al.: University of California Press, 1994. P. 88.

<sup>27</sup> См.: Информационный взрыв и травма постмодернизма. К вопросу об основном законе истории // Русский журнал. 1998. Октябрь. См.: <http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-08/epsht.htm> <http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-29/epsht.htm>. Материалы дискуссии см.: <http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-08/epsht0.htm>.

почти чудесное исключение»<sup>28</sup>. Чем такая всеобъемлющая библиотека отличается от условий дописменной эры? Для того чтобы произвести пьесы Шекспира или романы Л. Толстого, человечеству понадобилось несколько тысяч лет развития письменности. Но чтобы найти эти пьесы или романы в библиотеке, объемлющей все возможные сочетания знаков; чтобы отобрать среди мириад почти одинаковых текстов, различающихся одним или несколькими знаками, один наилучший вариант – для этого понадобятся уже не тысячи, а миллионы лет. Как ни парадоксально, но *создать нечто из ничего легче, чем найти нечто среди всего*. Потому что создание – акт органический, а поиск – процесс механический. Даже некоторые ученые, задыхаясь от избытка данных, считают, что легче и быстрее можно провести новый эксперимент, чем найти данные о ранее проведенных. «Бесконтрольная и неорганизованная информация перестает быть ресурсом информационного общества – и превращается в его врага»<sup>29</sup>.

Рукописание создавало свои жесточайшие критерии отбора (культовая словесность и литературный канон, классика), книгопечатание – свои, более мягкие (профессиональная наука и литература), но сквозная Сеть все впускает в себя и почти ничего не выпускает, вырастая в «вавилонскую библиотеку», в свалку информационных отходов. Виртуальное пространство быстро дешевеет, почти не превышая цены этих отходов, а значит, готово стать их безразмерным и вековечным хранилищем.

Но ведь это пространство моего сознания! И оно ограничено временем моей жизни! То, что оно считывает с экрана, отпечатывается в матрице мышления, заполняет нейроны мозга и мегабайты памяти. И здесь опять встает вопрос об отставании человека от человечества, а следовательно – об экологии сознания, об охране и фильтрации мозгового пространства. Теперь оно загромождается не только растущими в геометрической прогрессии объемами информации, но и обломками словесной энтропии, растущей в той же прогрессии по сравнению с ростом самой информации и еще более оцепеняющей мозг.

Алармизм (от *англ.* alarm – тревога, сигнал опасности) – предупреждение общества о грозящих ему бедах и соответствующий стиль мышления, жанр научной и художественной литературы и публицистики. В какой-то степени можно назвать древнейшими алармистами библейских пророков. Светский алармизм Нового времени исходит из исторически сложившихся губительных и саморазрушительных тенденций в развитии человечества. Мальтус на исходе эпохи Просвещения заложил основы алармистского дискурса, который в XX веке получил новый мощный импульс от экологов, защитников зеленой среды. После тревог, вызванных перспективами демографической и экологической катастрофы, надвигаются тревоги нового, информационного века. При этом алармистский дискурс следует отличать от революционного и утопического (хотя элементы всех трех соединяются, например, в марксизме), поскольку он предупреждает об опасности, бьет тревогу, но не обязательно указывает выход из кризисной ситуации или вообще предполагает возможность такого выхода. Знак тревоги – без указания выхода. Наученный опытом мальтузианства и экологизма, пессимистические пророчества которых все-таки не оправдались<sup>30</sup>, я верю, что найдутся средства для разрешения и этого очередного кризиса...

## 7. Датаизм и новейшая информационная травма

Современные технологии позволяют так сжать информацию, что ее усвоение представляет все меньше труда для человеческого разума. Не надо бегать по библиотекам и копаться в подшивках старых газет или перелистывать тяжелые многотомные энциклопедии. Вся инфор-

<sup>28</sup> Борхес Х. Л. Вавилонская библиотека // Соч.: В 3 т. Т. 1. Рига: Полярис, 1994. С. 314–317.

<sup>29</sup> Naisbitt J. Megatrends. New York: Warner Books, Inc., 1982. P. 24.

<sup>30</sup> См.: Зеленое и коричневое (1991) // Эпштейн М. Все эссе. Т. 2. Из Америки. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 37–42. См.: [http://www.russ.ru/antolog/INTELNET/esse\\_zelenoe.html](http://www.russ.ru/antolog/INTELNET/esse_zelenoe.html).

мация – на экране компьютера, и google моментально ответит на любой информационный запрос. Действительно, та травма сознания, которая обозначила первую эпоху постмодерна, то есть последнюю треть XX века, с развитием Интернета, то есть уже в конце 1990-х, стала уходить в прошлое. Казалось бы, означаемые возвращаются в мир означающих и отдельный человек, оставаясь внутри своего относительно короткого срока жизни, может поспевать за человечеством благодаря усовершенствованным способам собирания и переработки информации. Коммуникационные каналы расширились: сначала на диске можно было разместить Британскую энциклопедию, потом чуть ли не все шедевры мировой литературы, а потом и диски стали не нужны – вся нужная информация хранится в памяти компьютера или айфона.

Но эта пауза технической и информационной эйфории на рубеже веков была лишь прелюдией к новой диспропорции, ускоренно растущей в наши дни. Дело уже не только в постинформационном шуме, но в росте совершенно новых массивов информации, «больших данных» (big data), которые поддаются переработке и усвоению, но только искусственным разумом. Если раньше человек отставал от человечества, то теперь все человечество как естественный разум начинает столь же драматически отставать от искусственного, воплощенного в растущей мощности электронных алгоритмов. Все человечество оказывается в том положении, в каком раньше находился отдельный человек. По мере того как человек догонял человечество, оно отставало от созданного им сверхразума и теперь все менее способно отдать себе отчет в целях и путях своего развития, поскольку оно управляется уже так называемыми большими данными, то есть такой суммой информации, которую не под силу освоить даже сообществам крупнейших специалистов.

Этот феномен описан израильским историком Ювалем Ноем Харари в его напумевшей книге «Номо Деус: Краткая история завтрашнего дня» (2015).

Высокотехнологичные гуру и пророки Силиконовой долины создают новый универсальный нарратив, который узаконивает авторитет алгоритмов и больших данных. Это новое вероучение можно назвать датаизмом. В своей крайней форме сторонники датаистского мировоззрения воспринимают всю вселенную как поток данных, не видит в организмах ничего, кроме биохимических алгоритмов, и считают, что космическое призвание человечества состоит в том, чтобы создать всеобъемлющие системы обработки данных – и затем раствориться в них. Мы уже становимся крошечными чипами внутри гигантской системы, которую никто не понимает. Каждый день я поглощаю бесчисленные биты данных через электронные письма, телефонные звонки и статьи, обрабатываю данные и посылаю обратно новые биты через очередные имейлы, телефонные звонки и статьи. Я не знаю, где я вписываюсь в великую схему вещей и как мои биты данных соединяются с битами, создаваемыми миллиардами других людей и компьютеров<sup>31</sup>.

Приближается время, когда алгоритмы и большие данные будут знать каждого индивида лучше, чем он – самого себя. Он еще не успеет подумать или решить, чем он хочет заниматься сегодня, какую одежду носить, что есть на обед и ужин, а алгоритмы, проникающие глубоко в нейроны его мозга, знающие его поступки и предпочтения на протяжении всей жизни, уже устанавливают для него режим поведения, то есть в конечном счете действуют как имитация его собственной воли, а тем самым держат его под полным контролем. Алгоритм вырастает в Судьбу.

<sup>31</sup> Yuval Noah Harari on big data, Google and the end of free will // Financial Times. 2016. 26 August. См.: <https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c>.

Датаисты также верят, что, исходя из достаточного числа биометрических данных и вычислительной мощности, эта всеохватывающая система способна понять людей намного лучше, чем мы сами понимаем себя. Когда это случится, люди потеряют свою власть, а гуманистические практики, такие как демократические выборы, станут такими же устаревшими, как танцы для вызывания дождя и кремниевые ножи<sup>32</sup>.

Что же чувствует человек в качестве винтика этой огромной информационной машины, за действиями которой он не успевает следить – и тем менее способен ими управлять? Даже как передаточное звено этой машины, отправитель имейлов, он становится ей все меньше нужен, поскольку та биологически ограниченная скорость, с которой он получает, осмысливает и отправляет информацию, становится узким местом и даже помехой в ее деятельности.

При этом встает во весь рост проблема субъекта. Может ли какой бы то ни было алгоритм, знающий о нас все, заменить свободную волю, исходящую из самого бытия субъекта? Для всех информационных систем в мире «я» – это «он» или «она». Поэтому вряд ли для субъекта отыщется полная замена в мире даже оразумленных (*cognified*) объектов; источником смыслообразования все-таки остается *субъект*, и его сознание не может быть сведено к интеллекту, как и интеллект несводим к сознанию. Харари подчеркивает, что интеллект (*intelligence*) в этом новом инфоцентристском обществе начинает работать независимо от сознания (*consciousness*) и ведет за собой человечество, все менее управляющее собственной судьбой. Если раньше интеллект был неотрывен от сознания, от смыслополагающей деятельности субъекта, то теперь он господствует над ним. В этом и состоит суть датаизма как «новой религии», которая не нуждается уже в самом человеке и обожествляет вневещный разум, то есть совокупность больших данных, охватывающих все, что существует во Вселенной. Харари пророчествует об обозримом будущем: «Как только Интернет-Всех-Вещей заработает, люди из инженеров превратятся в чипы, затем в данные, и в итоге мы можем раствориться в потоке данных... <...> Оглядываясь назад, человечество окажется просто рябью в космическом потоке данных»<sup>33</sup>.

Разумеется, если человек перейдет под полный контроль этого сверхинтеллекта и в конечном счете самоупряднится, передав ему эстафету разума, тогда все вопросы снимаются. Нет сознания – нет травмы. Как говорили во времена прежнего, дотехнологического тоталитаризма, нет человека – нет проблемы. Но если человек все-таки останется, хотя бы как обитатель *ноосады*, где его будут демонстрировать высшему техническому интеллекту, как сейчас в зоосаде носителю природного разума демонстрируют животных, то что будет испытывать человек? Грандиозно расширится опыт травмы, если исходить из ее определения как события, которое воздействует чувственно на человека и вместе с тем не проникает в его сознание, превышает порог его эмоционального восприятия и осмысления. Вся жизнь человека, да и человечества в целом, неспособного вместить в себя «что», «как» и «зачем» собственного существования, станет сплошной травмой. Труднопереносимым стрессом становится сам процесс существования, который определяется диктатом алгоритмов и больших данных, но при этом все меньше соотносится с сознанием человека, с его способностью понимать свое место в обществе.

К счастью, пессимистические предсказания Мальтуса о гибели человечества из-за перенаселения Земли не сбылись. Есть основания надеяться, что информационный кризис тоже будет преодолен. Гёльдерлин пишет в своем стихотворении «Патмос», что там, где существует опасность, также возникает спасение. Но следует добавить, спасения заслуживает только тот, кто осознает опасность. Стихотворение навеяно ужасом апокалиптических масштабов; встреча

<sup>32</sup> Yuval Noah Harari. Ibid.

<sup>33</sup> Harari Y. N. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. London: Vintage, 2017. P. 460.

с Божественным в его самом темном, разрушительном проявлении побуждает к мучительному поиску смысла. Информационный кризис также побуждает к поиску смысла, беспрецедентному в истории. Если в предыдущие эпохи смысл воспринимался как почти идентичный знанию, то теперь он все больше фокусируется на поисках человеческой идентичности, на ценности субъективности в мире деперсонализованного знания.

Как чувствующие и мыслящие субъекты, мы не можем не переживать травмы от столкновения с превосходящей силой иного разума. Тем не менее именно болезненный опыт травмы может и дальше питать нашу субъективность и гарантировать ей спасение. Травма – очень личный опыт, недоступный чипам и алгоритмам. До сих пор мы характеризовали травму в основном в отрицательных терминах, как боль и расстройство, но перед лицом (или безликостью) больших данных именно страдание делает нас людьми и позволяет нам выделиться в космическом потоке данных. Признавая наш травматический опыт и изживая его через боль и различные формы самозащиты, мы подтверждаем нашу субъективность и способность болью бороться против собственного овеществления. Это конструктивный способ превращения травмы в расширенное самосознание. Информационный взрыв побуждает нас противопоставлять большому данным еще большую индивидуальность, большую человечность, эмпатию и творчество. История человечества – это история опасностей, превращенных в возможности для спасения.

\* \* \*

Еще в 1986 году американский социолог Оррин Клапп отметил, что следствием информационного пресыщения становится скука, притупление перцептивных и когнитивных способностей человечества.

Скука, по нашим представлениям, вырастает из нехватки стимулов (недостачи информации), но едва ли не чаще она возникает из чрезмерной стимуляции (информационной перегрузки). Подобно энергии, информации свойственно вырождаться в энтропию – шум, избыточность, банальность, – по мере того как скаковой конь информации обгоняет медленную клячу смысла<sup>34</sup>.

Прошло тридцать лет. Информация, обгоняющая смысл, точнее, уже сознательно множащая бессмыслицу, выросла в феномен «постправды», одного из ключевых понятий трамповской эпохи. Не случайно «постправда» выдвинулась на передний план в самом информационно продвинутом обществе, встав в один ряд с «фейками» и «альтернативными фактами». Это еще одна ступень возрастания постинформационного шума. Дмитрий Быков рисует такую гротескную картину: «Если завтра Тереза Мэй, не дай бог, отравится „Новичком“, Северная Корея попросится на роль пятьдесят первого штата, а Путин действительно разбомбит Воронеж – никто особенно не удивится, даже в Воронеже, и, что самое печальное, послезавтра об этом все забудут. Ибо главное завоевание человечества на путях информационной революции – это не столько равноправие всех истин, сколько короткая память»<sup>35</sup>.

Можно рассматривать постправду как своеобразный метод цензуры: не препятствовать публикации опасных, подрывных сообщений, а топить их в информационном шуме, то есть уничтожать не молчанием, а громкостью. Как замечает Харари, «в XXI веке цензура действует, наводняя людей бессмысленной информацией»<sup>36</sup>. Если при тоталитаризме цензура закрывает доступ к информации и тем самым делает ее еще более ценной в глазах общества, то в постинформационный век ценность информации сводится на нет самим ее изобилием, которое уже

<sup>34</sup> Klapp O. *Overload and Boredom: Essays on the Quality of Life in the Information Society*. New York: Greenwood Press, 1986. Цит. по: Wurman R. S. *Information Anxiety*. P. 38.

<sup>35</sup> Быков Д. Отравленные. Короткая память как завоевание информационной революции // Сноб. 2018. 10 июля. См.: <https://snob.ru/entry/163099>.

<sup>36</sup> Harari Y. N. *Op. cit.* P. 462.



не вызывает ничего, кроме скуки и желания как можно скорее стереть ее из перегруженной памяти.

Итак, на наших глазах информационное общество переходит в постинформационное, подхваченное новой ускоряющейся волной, новой, сверхгеометрической прогрессией, идущей поверх первой и ломающей ей хребет, – прогрессией беспорядочных и беспредметных текстов, нетематических суждений, безадресных выпадов, прерывистых и задыхающихся полумыслей, произвольных знаковых комбинаций, – волной смыслового шума... «Бежит волна, волной волне хребет ломая».

Таким образом, непрекращающийся информационный взрыв своим травматическим воздействием сулит еще долгую жизнь постмодерну.

## Ироническая диалектика: Революции XX века как предпосылка постмодернизма

### 1. Модернистские корни постмодернизма

В данной главе речь пойдет о тех законах культурного развития XX века, которые можно считать общими для Запада и для России, несмотря на то что в советскую эпоху Россия откололась от западного мира и противопоставила себя ему. Как ни парадоксально, именно «революционность» России по отношению к Западу вписывает ее в общую для Запада революционную парадигму XX века.

Первая половина XX века была ознаменована многочисленными революциями – «социальной», «научной», «сексуальной», революционными переворотами в таких областях, как физика, психология, биология, философия, литература, искусство. В России эти перевороты происходили в иных сферах, чем на Западе, но сама революционная модель развития объединяет два мира. Это позволяет объяснить, почему в конце XX века обнаружилось типологическое сходство между западным постмодернизмом и российской культурой, которая в 1980–1990-е годы тоже развивается под знаком *пост* (*посткоммунизма*, *постутопизма*).

Революционность – это модернистский феномен в самом широком значении этого слова, который можно определить как поиск подлинной, высшей реальности, стоящей за условными знаками и системами культуры<sup>37</sup>. Родоначальником модернизма, по-видимому, можно считать Жан-Жака Руссо, с его критикой современной цивилизации и открытием первичного, «неиспорченного» бытия человека в природе. Марксизм, ницшеанство и фрейдизм, подвергшие критике иллюзии идеологического сознания и обнаружившие «чистую» реальность в саморазвитии материи и материального производства, в инстинкте жизни и воле к власти, в сексуальном инстинкте и во власти бессознательного, – это модернистские движения.

В этом же смысле модернистом был Джеймс Джойс, открывший непрерывный «поток сознания» и «мифологические прототипы» за условными формами «современной личности»; Казимир Малевич, стерший многообразие красок видимого мира ради обнаружения его геометрической основы, «черного квадрата»; Велимир Хлебников, утверждавший чистую реальность «самовитого» и «заумного» слова, простого шаманского бормотания типа «бобэоби пели губы», на месте условного языка символов. Явлением политического модернизма, хотя и враждебного модернизму художественному, была коммунистическая революция, которая стремилась привести к власти «подлинных творцов реальности», «создателей материальных благ» – трудящиеся массы, свергнув власть тех «паразитических» слоев, которые извращают и отчуждают реальность и посредством всяких идеологических иллюзий и бюрократического аппарата присваивают себе плоды чужого труда.

В целом модернизм можно определить как такую революцию, которая стремится упразднить культурную условность и относительность знаков и утвердить стоящую за ними бытийную безусловность, как бы ни трактовалось это чистое, подлинное бытие: «материя» и «экономика» в марксизме, «жизнь» в ницшеанстве, «либидо» и «бессознательное» во фрейдизме, «творческий порыв» у Бергсона, «поток сознания» у Уильяма Джеймса и Джеймса Джойса, «экси-

---

<sup>37</sup> Американский критик Лионел Триллинг писал в своей работе «О современном элементе в литературе модерна»: «Я могу обозначить его *а*модерный элемент» как разочарование нашей культуры в самой культуре... горькая вражда с цивилизацией проходит через нее *а*литературу модерна...» Цит. по: *From Modernism to Postmodernism. An Anthology* / Ed. by L. E. Cahoone. Cambridge (MA), Oxford: Blackwell Publishers, 1996. P. 391.

стенция» в экзистенциализме, «самовитое слово» в футуризме, «рабоче-крестьянская власть» в большевизме и т. д.

Постмодернизм, как известно, резко критикует модернизм именно за эту иллюзию «последней истины», «абсолютного языка», «нового стиля», которые якобы открывают путь к «чистой реальности». Само название показывает, что «постмодернизм» сформировался как новая культурная парадигма именно в процессе отталкивания от модернизма, как опыт закрывания, сворачивания знаковых систем, их погружения в самих себя. Само представление о некоей реальности, лежащей за пределами знаков, критикуется постмодернизмом как еще одна, «последняя» иллюзия, как непреодоленный остаток старой «метафизики присутствия». Мир вторичностей, условных отражений оказывается более первичным, чем мир так называемой реальности. На этой почве возникают разнообразные постмодернистские движения, например российский концептуализм, который раскрывает природу советской реальности как идеологической химеры, как системы знаков, проецируемых на некое отсутствующее или пустое место означаемого.

Я попытаюсь раскрыть взаимосвязь постмодернизма и модернизма как двух звеньев одной культурной парадигмы, которая охватывается понятием *гипер*. Если российская и западная культура имеют общие корни в своем модернистском прошлом, тогда и теперешние параллели между западным постмодернизмом и российской разновидностью *пост* обнаруживают новую глубину, как пути изживания общего «революционистского» наследия. Именно революция, как поиск и утверждение «чистой реальности», ведет к образованию тех псевдореальностей, с которыми и играет, как с полыми, внереферентными знаками, постмодернистское искусство и на Западе, и в России.

Итак, тема данной главы – «модернистские предпосылки постмодернизма в свете постмодернистских перспектив модернизма», то есть, проще говоря, взаимозависимость этих двух явлений. Я кратко обозначу те подходы, которые можно назвать модернистскими, в физике (квантовая механика), в литературной теории («новая критика»), в философии (экзистенциализм), в учениях психоанализа («сексуальная революция»), в советской идеологии («коллективизм» и «материализм»). Все эти течения представляют собой феномен *гипер* в его первой фазе, как революционный переворот классической парадигмы и утверждение «последней» и чистой реальности. Во второй, постмодернистской фазе, которая может быть отделена от модернистской несколькими годами или десятилетиями, те же самые феномены осмысляются как *псевдо-реальности*, порожденные математическим аппаратом, приборами наблюдения, критическим методом, абстрагирующей фантазией и т. д. Тем самым разворачивается двойственный и иронический смысл самого *гипер*, его неизбежный переход от модернистской к постмодернистской фазе, условно говоря, от *супер* к *псевдо* (анализ этих двух понятий дан в конце главы). Понятие *гипер* не только связывает линией преемственности модернизм и постмодернизм, но и очерчивает параллелизм западного и российского постмодернизмов как двух реакций на общее революционное наследие.

## 2. Гипер в культуре и научная революция

Ряд весьма разнородных явлений в искусстве, науке, философии, политике XX века можно условно отнести к разряду «гипер», что буквально означает «усиленный», «чрезмерный». Современное использование этой приставки основано на том, что многие качества действительности XX века, доведенные до предельной степени развития, обнаруживают свою собственную противоположность. В этом смысле понятие «гиперреальность» выдвинуто в 1976 году итальянским семиотиком Умберто Эко и французским философом Жаном Бодрийяром<sup>38</sup>,

<sup>38</sup> Понятие *гипер* было введено Бодрийяром в 1976 г. в его книге «Символический обмен и смерть».

которые отнесли его к исчезновению реальности при господстве средств массовой коммуникации. Казалось бы, эти средства стараются запечатлеть реальность во всех ее мельчайших подробностях, но на таком уровне проникновения сами технические, визуальные средства создают новое качество реальности, которое можно назвать *гипер*. Гиперреальность – это иллюзия, создаваемая средствами коммуникации и выступающая как более достоверная, точная, «реальная» реальность, чем та, которую мы воспринимаем в окружающей жизни.

Для примера можно напомнить о влиятельном течении в изобразительном искусстве 1970-х – начала 1980-х годов, которое так и называлось – гиперреализм. Произведениями гиперреализма были огромного размера раскрашенные фотографии, заключенные в рамки и функционирующие как картины. На них кожа человеческого лица изображалась в таком укрупненном плане, что можно было видеть мельчайшие поры, шероховатости, бугорки, которых мы не замечаем при обычном взгляде на лица. Это и есть эффект *гипер* – реальность приобретает такие «сверхреальные» черты, которые на самом деле навязываются техническими средствами ее воспроизведения.

Согласно Бодрийяру, реальность исчезает в современном западном мире, плотно окутанном сетью массовых коммуникаций, поскольку она перерастает в гиперреальность, производимую искусственно. «Реальность сама идет ко дну в гиперреализме, дотошно воспроизведении реального, предпочтительно через посредничающие репродуктивные средства, такие как фотография. От одного средства воспроизведения к другому реальность испаряется, становясь аллегорией смерти. Но в определенном смысле она также усиливается посредством своего разрушения. Она становится реальностью ради самой себя, фетишизмом утраченного объекта: уже не объектом репрезентации, но экстазом отрицания и своего собственного ритуального уничтожения, – гиперреальностью»<sup>39</sup>.

Этот парадокс был обнаружен задолго до современных теоретиков постмодернизма в квантовой физике, где приборы существенно влияют на сам объект наблюдения – элементарные частицы. Реальность, которая открывается физикам начиная с 1920–1930-х годов, – это в нарастающей степени гиперреальность, поскольку она создается параметрами самих приборов и математическим аппаратом исчислений. По словам Нильса Бора, «отца» квантовой физики,

при более тщательном рассмотрении обнаруживается, что процесс измерения оказывает существенное влияние на те условия, которые содержит в себе само рассматриваемое определение физической реальности. <...> Эти условия должны рассматриваться как неотъемлемая часть всякого явления, к которому с определенностью может быть применен термин «физическая реальность»<sup>40</sup>.

Чем более совершенными становятся средства наблюдения физической реальности, тем менее она может быть зафиксирована как собственно реальность, отличная от условий своего познания. Это как раз тот случай возникновения гиперреальности, о котором, уже на примере культурных объектов, сорок лет спустя писал Бодрийяр: «От одного средства воспроизведения к другому реальность испаряется...» Причем речь идет именно о наиболее достоверных, тонких, чувствительных средствах воспроизведения, таких как фотография и телевидение. Чем правдивее метод наблюдения и воспроизведения, тем более сомнительной становится сама категория «правды», поскольку наиболее точно и полно представленный предмет перестает отличаться от своего оттиска и подобия. Правдивость делает невозможной правду. Здесь, на переднем крае познания, вооруженные самыми совершенными приборами, мы, по словам Н.

<sup>39</sup> Baudrillard J. Selected Writings / Ed. by Mark Poster. Stanford University Press, 1988. P. 144–145.

<sup>40</sup> Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность (1935) // Избранные научные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1971. С. 179.

Бора, «имеем дело с явлениями, не допускающими резкого разграничения между поведением объектов самих по себе и их взаимодействием с измерительными приборами»<sup>41</sup>.

Самый трудный методологический вопрос в современной физике, занятой такими теоретическими конструкциями, как «кварки» и «струны», – это: что, собственно, исследуется? каков статус так называемых физических объектов и в какой степени они могут быть названы «физическими» и «объектами», коль скоро они взаимодействуют с орудиями своего наблюдения и возникают на кончике математического пера?

Квантовая механика – первая дисциплина, честно признавшая свой гипернаучный характер или, точнее, гиперфизическую природу своих объектов: наука в своем приближении к элементарным основаниям материи обнаруживает умственный, сконструированный характер той физической реальности, которую лишь отчасти описывает, а во многом изобретает. Если раньше открытия и изобретения строго различались: открытия чего-то реально существующего в природе – изобретения чего-то возможного и полезного в технике, – то теперь открытия все больше стали превращаться в изобретения. Разница между ними стала стираться, по крайней мере в отношении самых начальных и глубинных слоев реальности. Чем больше углубляешься в реальность, тем глубже погружаешься в способы ее осознания и описания.

Далее мы укажем еще на несколько параллельных процессов возникновения «гипер» – в таких областях, как литературная критика, философия, идеология, теория и практика социальной и сексуальной революции. Области «гиперизации» столь удалены друг от друга, что невозможно обнаружить прямую зависимость между этими процессами, – скорее, это новый познавательный-бытийный рубеж, на который внезапно вышло все человечество.

### 3. Текстуальная революция

Наряду с гиперфизическими объектами возникает то, что можно назвать гипертекстуальностью: меняется отношение между критикой и литературой. Критика 1920–1930-х годов, в лице таких своих влиятельных школ, как русский формализм и англо-американская «новая критика», пытается отбросить (или заключить в скобки) все исторические, социальные, биографические, психологические моменты, «привходящие» в литературу, и выделить феномен чистой литературности, своего рода элементарные частицы литературной материи, последние, далее неделимые свойства литературности как таковой. Критика занимается очисткой литературы от всех тех напластований, которыми ее окружала просветительская, романтическая, реальная, биографическая, историко-культурная, натуральная, психологическая, символистская и прочие школы литературной критики XIX – начала XX века, то есть освободить ее от привнесенного содержания и свести к чистой форме, к «приему как таковому», к тексту самому по себе. Все, что традиционно считалось важным для литературы: отраженная в ней историческая действительность, выраженное в ней мировоззрение автора, воздействие на нее интеллектуальных веяний эпохи, угаданная в ней высшая реальность символических смыслов, – все это объявляется наивным и старомодным, «навязанным» литературе. Но по мере того как литература все более очищается от «не-литературы» и сводится к тексту, этот текст оказывается всецело во власти критика, точнее, оказывается порождением самой критики. Текст – это стерильный продукт, созданный в критической лаборатории по мере расщепления литературы на составляющие и удаления «историчности», «биографичности», «культурности», «эмоциональности», «философичности» как вредных, неорганических примесей к тексту.

Подобным же образом квантовая механика расщепляет физический объект, атом, на столь мельчайшие составляющие, что их объективное существование улетучивается и они становятся идеальной проекцией способов наблюдения, свойств физических приборов.

---

<sup>41</sup> Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном по проблемам теории познания в атомной физике // Там же. С. 427.

Поскольку чистые текстуальные элементы, знаки, выделенные из литературы, очищаются от всяких значений, якобы приносимых субъективностью писателя и воздействием внешних исторических условий, постольку зафиксировать эти знаки как именно знаки, то есть несущие некое значение (или наделенные возможностью значения), дано только самому критику. Он-то и определяет значение этих знаков, предварительно очистив их от всяких значений.

Парадоксальным результатом такого очищения литературы стала ее усиливающаяся зависимость от самой критики, от метода интерпретации. И формализм, и новая критика делают литературу чем-то познаваемым и доступным для читателя лишь посредством самой критики. Литература предстает как система чистых приемов или знаков, которые критика наполняет содержанием согласно той или иной методике истолкования. Иными словами, критика вытесняет литературу из ее собственной сферы, подменяя власть писателя властью критика над умами читателей. Как отмечал английский критик Джордж Стейнер, «если вообще критик является слугой поэта, то сегодня он ведет себя как господин»<sup>42</sup>. По мнению Умберто Эко, «в настоящее время поэтика все больше и больше берет верх над производением искусства...»<sup>43</sup>. По словам Сола Беллоу, критика

встречает читателя заградительными барьерами интерпретаций. И публика послушно предоставляет себя в распоряжение этой монополии специалистов – «тех, без которых невозможно понимание литературы». Критики, говоря от имени писателей, в конце концов успешно заменили их<sup>44</sup>.

Таково явление гипертекстуальности в литературной критике, параллельное гиперобъектности, достигнутой в физической науке.

Разумеется, все эти протесты против засилья критики как результата модернистской одержимости текстом сами принадлежат антимодернистскому сознанию, которое указывает на пределы движения модернизма, но еще не переступает их. Постмодернизм – это уже сознание неизбежности такой ситуации, когда сама критика порождает свой предмет и реальность текста выступает как иллюзорная проекция семиотической власти критика или, в принципе, любого читателя, производящего «распыление», «осеменение» текстуальных значений. Революция в критике, начавшаяся в 1920-е годы, закончилась короткой «антимодернистской» реакцией 1960-х годов, когда в моду вошли жалобы на диктат критики и зависимость от нее литературы. С пришествием постмодернизма ушли в прошлое и модернистское упоение чистой реальностью Текста, и антимодернистская скорбь по утраченной реальности Литературы.

## 4. Экзистенциальная революция

Еще одно «гипер» обнаруживается в таком ведущем направлении западной философии 1920–1950-х годов, как экзистенциализм. Казалось бы, экзистенциализм подверг самой сокрушительной критике «абстрактное», «рационалистическое» сознание, каким оно выступает в идеалистических системах, от Платона до Декарта и Гегеля, и обратился к доподлинной реальности единичного существования, «бытия как такового», которое предшествует всякой родовой сущности, всякому познавательному обобщению. Но, уже читая Достоевского, например «Записки из подполья», можно обнаружить производность экзистенции, или «чистого бытия», от «чрезмерно развитого», абстрактного сознания, разлагающего всякую конкретность и оформленность бытия и устремленного к «бытию как таковому», к длящейся пустой временности пребывания.

---

<sup>42</sup> Steiner G. *Humane Literacy* // *The Critical Moment. Essays on the Nature of Literature*. London, 1964. P. 22.

<sup>43</sup> Eco U. *The Analysis of Structure* // *Ibid.* P. 38.

<sup>44</sup> Bellow S. *Scepticism and the Depth of Life* // *The Arts and the Public* / Ed. by J. E. Miller, Jr., P. D. Herring. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1967. P. 23.

Экзистенция есть производимая сознанием чистая абстракция бытия, лишенного всех своих признаков, которые и делают его конкретным бытием. В своей конкретности человек бывает таким или другим, ленивым или трудолюбивым, чиновником или крестьянином и т. д. Подпольный, экзистенциальный человек не в состоянии быть даже лентяем, даже насекомым именно потому, что его сознание, безмерное и «болезненное», разрушает все определенности, которыми закабаляют себя «тупые», «ограниченные» люди, «деятели», и устремляется к той последней основе, где человек только «есть» как сущий, бытийствующий.

Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. <...> Умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. <...> Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления<sup>45</sup>.

Поиск абсолютного бытия, предшествующего всем рассудочным определениям и общим классификациям (психологические свойства, профессиональная принадлежность и т. п.), не менее, а более рассудочен, чем сами эти классификации. И хотя подпольный человек все время настаивает на «живой жизни», противопоставляя ее «чрезмерному сознанию», мы в конце концов обнаруживаем, что эта живая жизнь, как ее понимает герой, и есть последняя химера заплутавшего в самом себе сознания. «Скоро выдумаем родиться как-нибудь от идеи»<sup>46</sup>.

То, чего достигает этот экзистенциальный поиск, есть предельная абстракция бытия, абстракция единичности – некая *гипер*-единичность, которая не хочет и не может быть ничем типическим, только самой собой. Но это «самой собой» и есть наивысшая абстракция, которая держится только «на кончике» самосознающего сознания, разлагающего всякую качественную определенность. Экзистенция – это философский «квант», существование как таковое, которое именно по причине своей «элементарности» оказывается всего лишь производной «наибольшего сознания», абстракцией его самоопредмечивания. Экзистенциальное самоопределение «я есмь» гораздо более абстрактно, чем «эссенциальные» определения типа «я есмь разумное существо», «я – ленивый человек», «я – учитель математики» и т. п. Экзистенциализм в этом плане есть не отрицание рационализма, а его крайнее выражение, способ рационалистического сотворения предельно обобщенной иррациональной реальности – «воли» у Шопенгауэра, «жизни» у Ницше, «существования» и «единичного» у Кьеркегора.

У Гегеля развитие абсолютной идеи шло по линии воплощения в конкретность бытия, тогда как, начиная с Кьеркегора, само бытие обнаруживает все большую абстрактность, завершаясь даже абстракцией «единичности», «вот этого», которая в равной степени приложима к любому конкретному виду бытия, от насекомого до человека, от крестьянина до художника, совершенно абстрагируясь от их «типичности», которая у Гегеля все еще несет в себе конкретность воплощающейся идеи. Вопреки общепринятому мнению Кьеркегор в какой-то мере более отвлеченный мыслитель, чем Гегель. У Гегеля идея проходит процесс конкретизации через бытие, у экзистенциалистов само бытие проходит процесс абстракции через предельно обобщенную идею «бытия» и становится «чистым бытием», то есть почти пустой абстракцией, «гипербытием», формой «ничто» у Хайдеггера и Сартра.

В «Тошноте» Сартра показано, как предельно абстрактное, ни к чему не привязанное, «несчастное» сознание Рокантена вдруг сталкивается – а на самом деле порождает из себя – с абстракцией вязкого бытия, земли и корней, тошнотворно вездесущих и упрямых

<sup>45</sup> Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л.: Наука, 1973. С. 100, 108.

<sup>46</sup> Там же. С. 179.

в своей бессмысленности. Этот абсурд, который экзистенциальное сознание обнаруживает повсюду как откровение «подлинной» реальности, неискаженной, необобщенной, данной «до всякого осмысления», есть, в сущности, «гиперреальность», продукт рационального обобщения, выделяющего в мире такой всеобъемлющий признак, как «внерациональность», «лишность», «абсурдность». Вот этот момент экзистенциального откровения из «Тошноты» Сартра:

...Существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории: это была сама плоть вещей, корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки – все исчезло; разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы – голые бесстыдной и жуткой наготой... ЛИШНИЙ – вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями... В самом деле, все, что я смог уяснить потом, сводится к этой основополагающей абсурдности... Вот хотя бы этот корень – в мире нет ничего, по отношению к чему он не был бы абсурден. О, как мне выразить это в словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден.

Мы видим, что понятие существования, как внеположного всякому смыслу, не придает конкретности вещам, а, напротив, устраняет «пестроту индивидуальности», внедряет абстрактность в природу каждой вещи, ибо она одинаково и «неумолимо» абсурдна по отношению ко всему остальному. Раньше для Рокантена корень был черным, море – зеленым, чайка – белой, теперь остается лишь густой вар, «гнусный мармелад» сплошного, нерасчленимого существования. «...Изобилие оборачивалось мешаниной и в итоге превращалось в ничто, потому что было лишним». Само существование становится производным от способности разума не находить себя (смысла, разумности, нужности, оправдания) ни в чем, включая себя самого.

Эта внерациональность гораздо более умственна и абстрактна, чем все формы рациональности, разлагающей бытие на конкретные типы, сущности, законы, идеи. Рациональность всегда включает в себе хотя бы ту долю конкретности, что она есть «рациональность чего-то», «смысл какой-то конкретной вещи», который с рациональной точки зрения требует определения, уточнения. «Иррациональность» не требует такой конкретизации, она есть «иррациональность как таковая», «абсурдность всего», «всеобщий абсурд», который именно своим тошнотворным безразличием к конкретным вещам выдает свою крайнюю всеобщность. Иррациональный мир, якобы не поддающийся рациональным определениям, есть продукт наиболее схематической рациональности, снимающей все конкретные определения вещей и восходящий к предельным абстракциям «существования как такового», «единичности как таковой»<sup>47</sup>.

За достоверной и самоочевидной реальностью «существования как такового», постулируемого экзистенциализмом, обнаруживается гиперреальность рассудка, его предельно обобщенное понятие, настолько абстрактное, что оно отвлекается от собственной рассудочности и утверждает себя как бытие вообще, рассудком не постижимое, не конкретизируемое и не типизируемое. Вообще, типизация и конкретизация совпадают как два встречных определения бытия. Типизация есть умеренное обобщение, сохраняющее меру конкретности данного пред-

<sup>47</sup> Знаменательно, что в «Записках из подполья» Достоевского разуму (рациональности) противостоит не конкретное бытие, а именно сознание в своей беспредельной иррациональности. «Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два» (Там же. С. 119). «Дважды два – четыре» – простейшая, но вполне определенная формула разума, которой «сознание», как носитель иррациональности, готово противопоставлять любые формулы, лишь бы уйти от принудительности таблицы умножения: «дважды два – три» или «дважды два – пять»...



мета, а конкретизация есть умеренная спецификация, сохраняющая меру определенной всеобщности – идеи, смысла. Чистая – нетипизируемая – единичность есть одновременно чистая – неконкретизируемая – абстрактность.

Есть две ступени абстракции: рациональная абстракция, лежащая в пределах разума, и иррациональная абстракция, выводящая за пределы самого разума; такая абстракция разума от самого себя и создает предельно общее понятие «неразумности» чистого бытия, как противоположного разуму.

## 5. Сексуальная революция

То же самое «гипер» обнаруживается и в сексуальных исканиях XX века. Пуританизму XIX века, вообще всей «аскетической» христианской морали объявлена война, и первичной реальностью, стоящей за мышлением и культурой, объявлен инстинкт жизни и даже более осязаемо – половой инстинкт. Ницшевская философия жизни подготовила общество, прошедшее через опыт Первой мировой войны и взрыв агрессивных страстей, к приятию психоанализа, который именно в 1920-е годы утверждается как господствующее умонастроение западного мира. Научная работа З. Фрейда, В. Райха и их учеников, художественные открытия сюрреалистов, Дж. Джойса, Т. Манна, Д. Лоуренса, Г. Миллера и других, новая свобода нравов, приходящая эпохе джаза и кабаре, – все это поставило 1920-е годы под знамя так называемой сексуальной революции. «Основной инстинкт» ищется и выделяется в чистом виде, как «либидо», в сочинениях теоретиков и писателей – но сам этот инстинкт, в его абстракции от других человеческих побуждений и способностей, как замечают некоторые критики, есть всего лишь умозрительная схема, плод расчленяющей деятельности рассудка.

По словам английского религиозного писателя К. Льюиса, «вожделение более абстрактно, чем логика: оно ищет – упование торжествует над опытом – какого-то чисто сексуального, следовательно, чисто воображаемого соединения невероятной мужественности с невероятной женственностью»<sup>48</sup>. Тем более это определение «абстрактное» относится к бумажному, постлогическому вождению, разбуженному теоретическими призывами сексуальной революции. «Плоть как таковая», в ее буйных дионисийских экстазах, напоминает горячую фантазию онаниста, который чисто ментальным усилием вычленил эту плоть из всего многообразия личностных, духовно-телесных качеств своего вожделемого «объекта», – и характерно, что грезы такого рода на индивидуальном уровне часто сопровождаются реальным бессилием. В масштабе же всей европейской культуры это было построение еще одного уровня гиперреальности – искусственное воссоздание телесных образов, более ярких, сгущенных, концентрированно-гипнотических, чем сама по себе физическая реальность тела, и потому вызывающих умственный экстаз при ослаблении собственно сексуального компонента влечения. Как заметил Томас Элиот по поводу романов Д. Г. Лоуренса, «его борьба против чрезмерно рассудочной (over-intellectualized) жизни обнаруживает в нем самом чрезмерно рассудочное существо»<sup>49</sup>.

Критики часто указывают на это внутреннее противоречие Лоуренса. По наблюдению критика Джона Бэйли,

его мир любви полон столь странной и чистой отвлеченности, как ни у кого из великих авторов. Чем больше здесь порыва и неистовства, тем явственнее их умственное происхождение. <...> «Фаллическое сознание» кажется гипер-интеллектуальным, гипер-эстетическим, что делает «Леди

---

<sup>48</sup> Lewis C. S. The Allegory of Love. New York, 1958. P. 196.

<sup>49</sup> Lawrence D. H. A Critical Anthology / Ed. by H. Coombes. Harmondsworth, 1973. P. 244.

Чаттерлей» одним из самых претенциозно-интеллектуальных (highbrow) романов в мировой литературе<sup>50</sup>.

Любопытно, что Бэйли относит приставку *гипер* к интеллектуальной стороне лоуренсовских романов, тогда как сегодня мы скорее бы говорили о них не как о «*гипер*-интеллектуальных», но как о «*гипер*-сексуальных». В первом случае (у Бэйли) *гипер* все еще имеет значение *сверх*, *супер*, тогда как во втором случае приставка имела бы значение *псевдо* или *квази* (романы Лоуренса суперинтеллектуальны и именно поэтому псевдо-сексуальны). Само значение приставки *гипер* на протяжении XX века претерпевает эволюцию от *супер* к *псевдо* (см. об этом на последующих страницах).

*Гиперсексуальность* – так можно обозначить эту умственную возгонку, гиперболизацию сексуальности, которая обнаруживается и в работах Фрейда, и в романах Лоуренса, и, на самом примитивном уровне, во множестве порнографических изданий, как раз в это время начавших захлестывать западный мир. Порнография – это и есть царство гиперсексуальности, глянцево-бумажных или киноленточных образов немыслимого секса, невообразимо больших грудей, мощных бедер, неистовых оргазмов.

Теория психоанализа, при всей своей научной сдержанности и осторожности, тоже обнаруживает гиперсексуальный и, шире, гиперреальный уклон. Ведь мир подсознания и инстинктов, которые Фрейд объявляет первичной человеческой реальностью, был открыт при помощи сознания – или изобретен сознанием, как ему предстоящая и его превосходящая реальность чего-то другого. Такова судьба сознания в XX веке – оно воссоздает из себя нечто иное, чем оно само, и склоняется перед этой насквозь сконструированной реальностью как перед чем-то якобы первичным, необоримо могущественным. Более вероятно, что это не первичная реальность, предстоящая сознанию извне, а реальность, выстроенная самим сознанием и отчужденная от него, как «сверхреальность», якобы господствующая над сознанием. Гиперреальность – это способ самоотчуждения сознания, и Фрейдово «бессознательное» может рассматриваться как одна из самых ярких, гипнотически убедительных проекций сознания «вне себя». Как заметил Деррида, «„бессознательное“ не больше является „вещью“, чем потенциальным или замаскированным сознанием»<sup>51</sup>, или, можно добавить, сознанием, скрывающимся от самого себя.

Да ведь и сам Фрейд подчеркивал, что открытие бессознательного, как силы, господствующей над сознанием, должно послужить в конечном счете возвышению самого сознания: психоанализ, с точки зрения Фрейда, и есть такой способ расшифровки и высветления подсознательного, который позволит сознанию постепенно овладеть этим «кипящим котлом вождений». Иными словами, сознание открывает в своем подполье бессознательное, чтобы снова вознести себя над ним. Психоанализ – это экспансия сознания в те сферы, которые само сознание объявило заповедными и предзаданными себе. В отличие от квантовой механики, которая признает свой объект (физический) отчасти сконструированным изначально, психоанализ ставит лишь своей конечной целью сознательное структурирование своего объекта (психического). Но в обоих случаях физическая и психическая данность оказываются в значительной степени проекциями (или функциями) наблюдающего их интеллекта. Психоанализу ничуть не повредило бы, если бы, подобно квантовой механике, он признал наблюдаемые свойства бессознательного изначально зависимыми (или даже производными) от самих условий его наблюдения и описания.

Значение сексуальной революции, теоретической доминантой которой был психоанализ, состояло вовсе не в том, что органика и инстинкт из сферы подчинения сознанию перешли в сферу господства, – нет, это была всего лишь идеологическая установка революции. Там, где

<sup>50</sup> Bayley J. The Characters of Love. New York, 1960. P. 24–25.

<sup>51</sup> Derrida J. Differance // A Derrida Reader. Between the Blinds. New York: Columbia University Press, 1991. P. 73.

инстинкт якобы пришел к господству, он всегда господствовал и раньше – в реальных сексуальных отношениях, в интимной жизни людей. В действительности сексуальная революция была революцией сознания, которое научилось производить правдоподобные симуляции «чистой» сексуальности – тем более «экстатические», чем более абстрактные и рассудочные.

К сходному выводу приходит Юрий Лотман:

Распространение различных вариантов фрейдизма, охватывающее целые пласты массовой культуры XX века, убеждает, что они менее всего опираются на непосредственные импульсы естественной сексуальности. Они – свидетельство того, что явления, сделавшись языком, безнадежно теряют связь с непосредственной внесемиотической реальностью. Эпохи, в которые секс делается объектом обостренного внимания культуры, – время его физиологического упадка, а не расцвета. <...> Попытки вернуть в физиологическую практику все то, что культура производит в первую очередь со словом, делают не культуру метафорой секса, как утверждает Фрейд, а секс метафорой культуры. Для этого от него требуется лишь одно – перестать быть сексом<sup>52</sup>.

Результатом сексуальной революции стало не столько торжество «природного» секса, сколько торжество ментальности над сексом, который стал зрелищем и товаром в виде бесчисленно тиражируемых иллюзий гиперсексуальной мощи, соблазна, «сверхмужественности» и «сверхженственности». Это «сверх», которое делает образы секса популярными и товарными, есть именно качество, отсутствующее в природе и привнесенное абстрагирующей и утрирующей функцией сознания<sup>53</sup>.

## 6. Социальная революция

Четыре указанных процесса, ведущие к созданию гиперобъектов: гиперчастицы квантовой механики, гиперзнаки литературной критики, гипербытие экзистенциализма, гиперинстинкты психоанализа и сексуальной революции, – по преимуществу разворачивались в западной культуре. Но и в коммунистическом мире в это же время, в 1920–1930-е годы, сходные процессы «гиперизации» распространяются на все сферы общественной жизни. Собственно, сам коммунизм, его теория и практика могут рассматриваться как явления «гипер», характерные именно для Востока.

Советское общество, как известно, было одержимо идеей общности, обобществления. Индивидуализм осуждался как тягчайший грех, пережиток прошлого. Коллективизм был объявлен высшим нравственным принципом. Экономика строилась на обобществлении частной собственности, которая должна была перейти во владение всего народа. Общественное ставилось выше личного. Общественное бытие определяло сознание. В заводских цехах, на колхозных полях, в колониях для беспризорных и в городских коммунальных квартирах шло воспитание нового, коммунистического человека, который должен был стать сознательным и исполнительным «винтиком» гигантской коллективной машины.

Но эта социальность нового типа, несравнимая с прежней (дореволюционной) по степени своей обязательной тесноты и сплоченности, была только гиперсоциальностью, симуляцией общности. В действительности социальные связи между людьми стремительно разрушались,

---

<sup>52</sup> Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 255–256.

<sup>53</sup> Подробнее о гипертекстуальности и гиперсексуальности говорится, хотя и без употребления данных терминов, в моих статьях «Критика в конфликте с творчеством» (Вопросы литературы. 1975. № 2. С. 131–168) и «В поисках „естественного человека“» (Вопросы литературы. 1976. № 8. С. 111–145), впоследствии включенных в книгу: *Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков*. М.: Советский писатель, 1988. Там же указывается и на взаимосвязь текстуальной и сексуальной революций как двух проявлений *гипер* (С. 249–250).

так что к середине 1930-х годов даже самые близкие люди: муж и жена, родители и дети – уже не во всем могли доверять друг другу. Гражданская война и коллективизация продемонстрировали разрушение внутринациональных, внутрипрофессиональных и внутрисословных связей. «Самое сплоченное общество в мире» было вместе с тем собранием испуганных одиночек или крошечных семейных или дружеских сообществ, каждое из которых в отдельности пыталось выжить и противостоять давлению государства. И в основании всей этой государственной пирамиды тоже лежала воля одного-единственного человека, который подлаживал под себя всю работу огромного общественного механизма.

Не странно ли, что именно коммунизм, с его волей к обобществлению, вместе с тем всегда и везде – в России, Китае, Корее, Румынии, Албании, на Кубе – порождает так называемый культ личности? Это не простая случайность и не парадокс, а выражение гиперсоциальной природы нового общества. Коммунизм – это не органическая социальность, которая возникает на основе биологических и экономических связей и потребностей людей друг в друге, а социальность, конструируемая сознательно, по плану, исходящая из единичного ума «основоположника» и руководимая единичным умом «вождя».

«Чистая» социальность коммунистического типа подобна «чистой» сексуальности психоанализа, или текстуальности новой критики, этим «гиперам» вышеописанных образцов: это некая гипнотически яркая квинтэссенция социума, которая в силу своей абстрактности исключает и подавляет все индивидуальное и конкретное. Обычная социальность включает в себя разнообразие индивидуальных проявлений и частных форм собственности, подобно тому как сексуальность включает в себя духовную и эмоциональную близость между людьми, художественное произведение выражает взгляды автора и дух эпохи, а физическая субстанция состоит из сложных, многосоставных частей. Но «гипер», в силу своей искусственно-рассудочной природы, есть квинтэссенция одного качества при исключении всех остальных. Гипертекстуальность исключает всякую «иллюзию содержания», гиперэлементарность – «иллюзию сложности», гиперсексуальность – «иллюзию духовности», «личного отношения»...<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Ср. у Лакана: «Не существует такой вещи, как сексуальное отношение». *Lacan J. A Love Letter (Une Lettre D'Amour)* // Jacques Lacan and The Ecole Freudienne: Feminine Sexuality / Ed. by J. Mitchell and J. Rose; Transl. by J. Rose. London: Macmillan, 1983. P. 149–161.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.